Эрнест Кольман

[Мы не должны были так жить!]

Эрнест Кольман

Мы не должны были так жить!

«Спорт»

2011

ББК 47.2.1.2.4

Кольман Э.

Мы не должны были так жить! / Э. Кольман — «Спорт», 2011

ISBN 978-5-904885-36-6

Мемуары партийного и государственного деятеля СССР и Чехословакии, доктора философии Э. Кольмана – это не только историческое свидетельство, но и прежде всего, психологические размышления одного из «последних могикан» сегодня уже почти вымершего племени революционеров-идеалистов. Эти люди пришли в революцию с наивысшими этическими требованиями, но им не удалось предотвратить вырождение системы, которую они сами помогали создавать.

ББК 47.2.1.2.4

ISBN 978-5-904885-36-6

© Кольман Э., 2011
© Спорт, 2011

Содержание

Предисловие 7
Для чего я пишу 10
Часть первая. Прага 11
В мире детства 11
Атмосфера семьи 14
Я весь в отца 18
Неважный ученик 24
Влюблен в Лилавати 28
Романтизм двух национализмов 34
Тянет в дальние страны 39
В двух высших школах 47
Замечательные люди 52
Я знакомлюсь с марксизмом 59
Часть вторая. В войне и в революции 64
Муштра 64
Фронт и контузия 67
Попали в плен 74
Нас везут в Сибирь 78
Из лагеря в лагерь 81
Зреет протест 85
Бури революции 88
Борьба за мир 92
Конец ознакомительного фрагмента. 94

Эрнест Кольман
Мы не должны были так жить!

© Кольман Э., наследники, текст, фотографии, 2011
© Издательство «Человек», издание, 2011

*** * ***

Посвящаю самому младшему из моих внуков и внучек, Эрику Яноуху, родившемуся 7-го марта 1971 года

Предисловие

Мне пришлось долго уговаривать моего тестя Эрнеста Кольмана, чтобы он написал свои воспоминания. Он начал их писать только после того, как ОВИР в шестнадцатый раз отказал ему и его жене посетить их дочь Аду, сначала – в Праге, а потом – в Швеции.

У Кольмана было много причин быть недовольным коммунистическим режимом: он писал свои мемуары в Москве, где в те времена царила особо отвратительная форма бюрократического и дегенерированного советского «коммунизма»; он начал их писать после вторжения советских войск в его родную Чехословакию; после того, как КПСС, в которой он состоял более 50 лет, вынесла ему «выговор с предупреждением» за статьи и выступления в поддержку Пражской весны. И, наконец, после того, как он в течение нескольких лет испытывал на собственной шкуре тюремные камеры на Лубянке. Несмотря на это, в своих мемуарах он временами как бы оправдывает происходившие на его глазах события.

Эрнест Кольман начал писать свои мемуары в 1973 г. и закончил их в начале 1975 г. В том же 1975 г. его воспоминания – более 500 убористо написанных рукописных страниц – были нелегально вывезены через США в Швецию. Я никогда не говорил Кольману, кто помогал при осуществлении этой операции. Быть может, ему это не пришлось бы по душе, не показалось бы вполне «кошер». Он мучился бы угрызениями совести, поскольку такие методы плохо сочетались с его коммунистическим сознанием и верой.

В сентябре 1976 г., после ходатайства шведского премьер-министра Улофа Пальме у Леонида Брежнева, Кольман и его жена, Екатерина Концевая, получили, наконец, заграничный паспорт и приехали в Стокгольм. Кольман немедленно принял решение не возвращаться в СССР (в эту тюрьму, как он выразился) и написал открытое письмо Брежневу. В письме он ставит его в известность, что выходит из КПСС, в которой состоял 56 лет. Это письмо (см. приложение) получило на Западе широкую огласку и было опубликовано в десятках западных газет.

После приезда в Стокгольм, Кольман и его жена проделали последнее литературно-языковое редактирование рукописи, но оно не затрагивало содержания и оценок, оставшихся без изменений. Я старался понять взгляды этого старого большевика под конец жизни, и мы с ним провели сотни часов в интересных дискуссиях, часто переходивших в бурную полемику, и даже иногда – в острые споры. Я задавал ему вопросы, – и он отвечал на них. Вскоре я начал записывать наши беседы на магнитофон. В конце концов, мы перешли к записям на бумаге: Кольмана это больше устраивало. Ему было 84 года, и он довольно плохо слышал, но зато владел пером прекрасно, не хуже, чем в молодые годы. Наш диалог мы вели на немецком языке, которым Кольман владел, пожалуй, лучше всех других языков. Когда издательство «S. Fischer» во Франкфурте получило рукопись нашего диалога, то опытный главный редактор запретил в ней что-либо менять: дело в том, что Кольман писал на пражском немецком языке начала прошлого столетия, то есть, на том диалекте немецкого, который уже давно исчез и сохранился лишь в произведениях пражских немецких писателей: Франца Кафки, Макса Брода, Франца Верфеля, Райнера Мария Рилке и др. Диалог вышел как часть второго немецкого издания мемуаров Кольмана, во Франкфурте, в 1982 г., под заглавием Wie habt ihr so leben können? (Как вы могли так жить?). Сейчас, 35 лет спустя, я, быть может, формулировал свои вопросы несколько иначе, но так же как и мемуары, диалог оставлен точно в том же виде, в котором мы его с Кольманом вели.

Мемуары Эрнеста Кольмана вышли в 80-х годах в двух немецких изданиях: в издательстве «S. Fischer», а также – по-шведски, по-датски, и по-русски – в американском эмигрантском издательстве «Чалидзе Пресс», в Нью-Йорке. Чешское издание мемуаров вышло значительно позже, в 2005 году под названием Zaslepená generace – Paměti starého bolševika

(Заблудившееся поколение – Воспоминания старого большевика), и вызвало много положительных откликов. Например, известный чешский критик Павел Косатик написал в своей рецензии: «Написать подобную книгу в форме романа было бы невозможно, – никто бы ей не поверил. Такая жизнь могла произойти лишь на самом деле».

Мы с женой подготовили для печати первое московское издание воспоминаний Кольмана. Прошло почти 35 лет с тех пор, как я впервые получил вывезенную из СССР рукопись. Я снова внимательно и подробно перечитываю воспоминания Кольмана. Я, к сожалению, должен заметить, что количество вопросов, которые я задавал автору в конце 70-х годов, только возросло. Кольман был необычайно талантливым и высокообразованным человеком. Он знал много языков, был профессором математики и философии, хорошо разбирался в современной физике, логике, истории естественных наук, в истории религии. Его энциклопедические знания во многих областях импонировали не только его друзьям, но и недругам. Так, например, бывший ректор Мюнхенского университета Николаус Лобковитц сказал о Кольмане, что тот в 1945 г. в Праге «…вызвал немедленно уважение к себе: он знал всегда гораздо больше, чем можно было бы ожидать в те времена от советского философа; прежде всего, его глубокое знание математики, физических и естественных наук, и, не в последнюю очередь, знание логики, должны были произвести сильное впечатление на позитивистски настроенный Пражский университет».

Как же возможно, что этот человек оставался так долго в неведении? Тут может быть единственный ответ: коммунизм стал для него, воинствующего атеиста, религией, церковным учением, верой. А в церкви о вере обычно спорить не принято.

Некоторые моменты в мемуарах Кольмана кажутся сегодня архаичными, наивными, даже смешными. Несмотря на это, они оставлены в том виде, как были написаны: как свидетельство той эпохи, и одновременно как свидетельство необыкновенной притягательной силы, которую имела коммунистическая идеология и которая, к сожалению, у нее есть до сих пор и, наверное, сохранится и в будущем. Мемуары являются уникальным документом, свидетельствующим о притягательности коммунизма не только для бедных и униженных, но и для образованных людей, для интеллектуалов. В отличие от фашизма или нацизма, коммунизм не был, однако, никогда побежден и разоблачен, и виновные в преступлениях против человечности не были никогда осуждены и наказаны. Преступная сущность коммунизма укрылась и продолжает укрываться за победой во Второй мировой войне, за научно-техническими успехами, за успехами в развитии и производстве современного оружия, включая ядерные бомбы и межконтинентальные ракеты.

Победителей не судят… Поэтому советский ГУЛАГ, террор ЧК, зверские по своему содержанию телеграммы и приказы Ленина и Сталина, в которых они требуют казнить тысячи невинных людей, голод в стране, десятки миллионов мужчин, женщин и детей в советских концентрационных лагерях, – все это *пока* частично прощается, так как Советский Союз был одним из трех союзных держав-победительниц, да, к тому же, является сверхдержавой…

По стечению обстоятельств, я как раз недавно, когда мы начали готовить мемуары Кольмана к печати в России, прочел несколько книг Александра Яковлева, в особенности, его книгу «Крестосев», и ознакомился с его документальной серией книг о злодеяниях коммунизма. Я не могу не задавать себе вопроса, ответа на который мне уже никогда не получить: как бы реагировал Эрнест Кольман на эти сегодня обнародованные архивные материалы, не оставляющие камня на камне в коммунистической вере и морали, в непорочности ее святых апостолов?

Текст воспоминаний мы оставили в том же виде, как 35 лет тому назад. Мы лишь внесли небольшие поправки, уточнив некоторые географические названия, имена и даты.

Мы с женой счастливы, что мемуары Эрнеста Кольмана, наконец, будут изданы в Москве, на русском языке, на котором они были написаны. Мы уверены в том, что эта книга не перестанет быть актуальной, поскольку в настоящее время Россия ищет свой новый национальный идентитет и пути к его достижению. Хотелось бы верить, что опубликование мемуаров Эрнеста Кольмана будет способствовать осуществлению этой цели.

Франтишек Яноух, Стокгольм, Июль-август 2010 г.

Для чего я пишу

Историю своей жизни я берусь написать, когда мне подходит к восьмидесяти. Уже во второй раз я приступаю к этой задаче. Еще в 23 году (мне не было тогда 31) я во время болезни набросал несколько десятков страниц воспоминаний детства (и они чудом сохранились, я использовал их сейчас), но дальше не пошел. Кроме того, в разное время, в виде статей и одной книжки («Повернувшие штыки») я опубликовал отрывочные воспоминания о некоторых своих жизненных эпизодах. Это единственные источники, из которых я могу черпать, – никаких дневников или записей у меня, естественно, не имеется, если, конечно, не считать собственную память.

Отмечаю это для того, чтобы перед собой и перед другими оправдать пробелы и неточности, которые (в чем я не сомневаюсь) встретятся здесь, в написанном.

Нарушения объективности изложения вызваны не только недостатками моей памяти и отсутствием записей. Как мне теперь ясно, я в свое время оценивал многие, причем важнейшие факты, весьма неверно. Искренне заблуждаясь, я питал иллюзии, которые затем обманули меня, но тогда я боролся за их осуществление, жертвуя всем. Спрашивается, где же гарантия, что нынешние мои оценки верны? Конечно, ее нет, и я не собираюсь навязывать кому бы то ни было свое мнение.

Но при всем этом, несмотря на то, что здесь невольно будет содержаться не только Wahrheit, но и Dichtung[1], я субъективно честно буду стремиться писать правду, только правду и полную правду, не допуская полуправды, которая хуже лжи. Это относится прежде всего к политико-социальным оценкам, к оценкам моих личных позиций, и к оценкам людей, которые мне встречались в жизни.

И тут сразу встает вопрос: зачем и для кого я пишу все это, зная, что при данных координатах пространства и времени никто не станет печатать такую «ересь»? Разве не очевидно, что в наше противоречивое время, для характеристики которого трудно подыскать прилагательное, нельзя и помышлять об издании этой работы.

Пусть эти мои воспоминания будут чем-то вроде исповеди, которой, как считается, верующий христианин облегчает свою совесть. Что ж, у меня на совести немало грехов. Может быть, если я попытаюсь самокритически публично покаяться в них, то на том свете черти проявят ко мне при поджаривании некоторое снисхождение. А как я написал, об этом – как в таких случаях говорится – пусть судят другие. Еще одно сомнение. Вероятно, надо было писать по-чешски, на моем родном языке. Но русский стал для меня более привычным, и, кроме того, он все же обеспечивает более широкий круг читателей.

[1] Правда и поэзия, намек на название мемуаров Гете под названием Dichtung un Wahrheit.

Часть первая. Прага

В мире детства

Вот я, маленький, играю на ковре, в углу комнаты, перед окном. Рядом сидит няня, огромная, в огромной комнате, она не то вяжет, не то чинит чулки, не то рассказывает сказку, не то поет:

Изюминки, миндаль,
Арноштеку дадим…

Нет, это ведь колыбельная песня, она здесь не причем, тут, видно, я что-то перепутал. Должно быть, все это я слышал позже, из рассказов матери.

Наплывает другая картина. Бабушкина комната. Бабушка не живет с нами, мы с мамой пришли к ней в гости. Полутемно, в нижнем этаже окно выходит в сад, оно затенено каштанами, липами. И сколько здесь рукоделия, кружев самых тонких редких узоров, самой трудной работы! Бабушка, хотя ей далеко за шестьдесят, не перестает заниматься плетением кружев на пяльцах, конечно, ради собственного удовольствия. Она ни минуты не сидит без дела. Не носит очков, глаза ей не изменили. Кружева, а также вышивки, какие-то выпуклые, она раздаривает всей родне.

Мне года четыре-пять. Я мал ростом, голова перевешивает, то и дело падаю и набиваю шишки на лбу. Ходить к бабушке в гости я очень люблю. Как она интересно рассказывает, разговаривает со мной, как с равным, не сюсюкает, как это делают почти все взрослые с детьми. И всегда чем-нибудь особым угостит – кусочком засахаренного имбиря, или изготовленным ею же розовым печеньем из плодов шиповника. Она замечательный кондитер по профессии. Помнится, однажды, она запасла для меня огромное чудо-яблоко, говорила, австралийское, от кого-то она его получила. И тут же рассказала про заморские диковинные страны.

Но главное, какие занимательные игрушки у моей бабушки! «Чертов узел» – многогранный деревянный крест. Его надо сначала разобрать, а потом снова сложить. Первое еще и так и сяк удается, после долгих поисков, но второе никак не выходит. И бабушка не подсказывает, она приговаривает: «Нужно иметь терпение и быть внимательным. Когда ты разбирал, ты ведь видел, как эти кусочки сложены, какой с каким. Ничего, повозись, повозись, Арноштек, постепенно научишься». Но, наконец, бабушка сжалится, отложит свои пяльцы, возьмет кусочки, на которые «чертов узел» рассыпался, повертит их туда-сюда, и каким-то волшебством фокусника вся эта сложная геометрическая фигура опять цела. И так много раз, пока я не научился этому искусству. Имеется еще металлическая ручка из согнутой наподобие буквы проволоки, с подвешенными на ней костяными кольцами. Их все надо снять, а потом снова надеть, но и то и другое сделать нелегко. «Игры на терпение», так их тогда называли, «математические игры» – называют их теперь.

Возможно, что они как-то приобщили меня к математике, к стереометрии, но уж никак не научили терпению. Ведь нетерпеливость была всегда и осталась и ныне одним (не единственным, конечно) моим большим недостатком.

Бабушка – мать моей матери – грузная, дородная. Лицо у нее розовое, без морщинок, глаза серые, большие, все белые зубы целы, а волосы длинные, густые, серебряные. Одевается она в темные, длинные до пола шелковые платья. Она очень любит меня, называет «маленьким философом». Но она строга, властна, у нее твердый, настойчивый характер.

Что-то не помнится, чтобы она нежно ласкала меня. Наоборот, она могла ядовито издеваться над моей неуклюжестью, вышучивать мои медвежьи повадки. Но я знал, чувствовал, что все это она делает любя. А я очень любил ее, и эта любовь живет во мне до сих пор. Она умерла в тридцатых годах, перед самой гитлеровской оккупацией.

Но любил я посещать бабушку не только ради нее самой. Ведь она как бы открывала новый для меня мир, мир «сотоварищей по игре», «друзей детства». Дома я был долго одинок – единственный ребенок – мой брат Рудольф родился на пять, а сестра Марта на восемь лет позже меня. У меня не было тогда друзей.

Я не помню также, чурался ли я других детей, был ли замкнут. Скорее всего, думается, что нет, что был общителен, но от знакомства с ними удерживали меня постоянные наставления мамы и вторившей ей няни: «Арноштек, не хватай чужие игрушки, не трогай других детей!»

Больше всего я любил лодки, однако, это была сезонная игра, для лета. Сначала отец, а когда я стал постарше и мне разрешалось брать в руки Ме (до этого у нас дома мама строго цитировала «Messer, Gabel, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht!» «Нож, вилку, ножницы и огня маленьким детям давать нельзя!»), то я сам вырезывал лодки из коры, снабжал их палочками-мачтами и бумажными или даже тряпичными парусами и на нитке пускал в плаванье.

Но зачем, собственно, я описываю все эти мелкие подробности? Я вспоминаю об этом потому, что большую любовь к воде, – к пруду, озеру, реке, и особенно к морю – я пронес с собой через всю мою жизнь. Ведь как ни люблю я природу во всех ее видах – луга, поля, степи, леса, горы и даже пустыни – море волнует меня глубже всего. Вновь и вновь, уже взрослым, я возвращался к мысли, что зря не избрал своей профессией профессию судового инженера, что давало бы мне возможность постоянно плавать по морям, побывать во всех новых, самых далеких странах. Ведь путешествовать всегда было моей мечтой и страстью. Но заговорив о такой «мирской» возможности выбора профессии, я должен тут же добавить, что иногда я в своих мечтах впадал в другую крайность: стать лесничим, все дни проводить в глубоких лесах, скажем, где-то в Карпатах, в тишине, в спокойствии.

Игры, как кукольный театр, появились уже в более позднем детском возрасте. Сцену для миниатюрного кукольного театра, кулисы, занавес, все это из картона и дерева, да и сами куклы, стандартные персонажи наиболее распространенных кукольных пьес, а также тетради их текстов, продавались в писчебумажных магазинах. Соорудить из этих реквизитов театр и поставить пьесу помогал мне отец, сам большой любитель кукольного театра. Позже, когда я подрос, я не только сам ставил спектакли, но и по-своему переиначивал пьесы, а потом, лет с четырнадцати, сочинял свои собственные. Помню две из них. Одна, шуточная, называлась «Принцесса Одуванчик, ушастая и носатая», и была в стихах. Зрителями были: мои брат и сестра, родители. Вторая, но уже не для кукол, была серьезная, на тему о подвиге библейской Эсфири. Я написал ее шестнадцатилетним юношей, в период моего увлечения еврейским национализмом, о чем еще расскажу. Ее ставили любители-студенты, в здании хлебной биржи, выручка пошла на помощь детям жертв одного из многочисленных погромов в России, кажется, кишиневского.

В раннем детстве я часто только казался играющим, в действительности же я прислушивался к разговорам взрослых. В этом они убеждались, когда я выдавал себя, внезапно вставляя в их разговор какое-нибудь словечко. В мой адрес часто раздавалось «епГап! ТегпЫе». Играя один, я уходил в свои фантазии, мечтал, продолжал в игре сказки, одушевлял неодушевленные вещи. Впрочем, это свойство жить, когда захочешь, в нереальном мире, созданном собственной фантазией, но ничуть не менее ярком, чем действительный мир, осталось у меня на всю жизнь. Оно очень выручало меня в тяжелые времена, особенно трехкратного тюремного одиночества.

Но вот, неведомый мне мир других детей-ровесников открылся мне там, у бабушки Иоганны. Мне было тогда меньше шести, то есть меньше школьного возраста. А так как я родился в конце года, в декабре, то мне разрешили начать посещать начальную школу даже раньше шести лет. Однако не в школе, а до нее, я узнал этот странный мир других «я». Бабушка была членом еврейского благотворительного общества. Она взяла на себя обязанность надзора над сиротским приютом для девочек, который это общество содержало, была его заведующей. Там она в одной из его комнат и поселилась.

Атмосфера семьи

Мой отец (звал я его «папа́», а мать «мама́», на французский лад, или также по-чешски «татинек» и «маминка») никогда бабушку не посещал, по меньшей мере, в течении нескольких лет. Причина этой размолвки была мне неизвестна, и хотя впоследствии я узнал всю эту историю, теперь я ничего не могу толком припомнить. Подобных историй, каких-то запутанных отношений между родственниками, было как будто в нашей семье не мало. Ничего я не знал о дедушке (муже бабушки Иоганны), вероятно, его я не застал в живых. А родителей отца – вторых бабушку и дедушку – я хотя и помню отлично, но чуть ли не по одной единственной встрече. Жили они в деревне Светла близ селения Кардашова Ржечица, а Светла – это то место, где родился отец, или даже где он учительствовал, в Южной Чехии. Это край «письмаков», чешских братьев, остатков гуситов. По семейным традициям – Кольманы происходили из Северной Италии, из местности около озера Лаго-ди-Комо, из тех же мест, откуда в Чехию, в 19-ом веке, прибыли предки Больцано. Об этом я узнал позже, когда занимался биографией этого замечательного мыслителя. Если мне память не изменяет, Гёте, описывая свое путешествие по Италии, называет оба городка: Больцано и Кольмано. Мой прадед или прапрадед был скрипичным мастером и скрипачом. Дед, отец моего отца, тоже производил скрипки и играл на скрипке, но одновременно был проповедником-сектантом. На скрипке чудесно играли и отец, и брат Рудольф, который сам и сочинял, импровизировал, и со своей скрипкой никогда не расставался. Отец и внешне был похож на итальянца, смуглый, с большими усами а ля Гарибальди. Его портрет, выполненный крупным художником, масляными красками, уцелел при нацистах, и мать подарила его мне после моего возвращения в Прагу. Он висел в нашей квартире «Под Боржиславкой». Но в 48 году, как и большинство дорогих мне вещей, пропал – его попросту украли либо чехословацкие работники госбезопасности, либо вселившийся в мою квартиру новый жилец.

Что же касается неладов между отцом и бабушкой Иоганной, то хотя я и понимал, что отцу неприятно, когда я хожу к ней, и хотя я и уважал его больше кого бы то ни было на свете, но все же отказаться от частых посещений сиротского приюта было бы мне больно. Да и отец не требовал этого. Я помню, что любил играть с девочками. Все они были одеты в одинаковые синие платья. Но играл я не со сверстницами, а обязательно со старшими, и они любили играть со мной. В приюте было свыше 60 девочек, от 6 до 18 лет. Больше всего я привязался к самой старшей, к Гермине, уже кончавшей среднюю школу. Когда однажды учительница, фрейлейн Текла (немецкая еврейка), «идейный» руководитель приюта, спросила меня, кто из воспитанниц мне нравится больше всех, я без стеснения громко заявил: «Я люблю Гермину и больше никого!» И я совершенно не понимал, почему все расхохотались, и после этого любовного признания поддразнивали меня. В глубине души я считал всех, а в первую очередь учительницу – типичный синий чулок – дурами.

Атмосфера в приюте была не ахти как здорова. Думается, что это характерно для любого закрытого детского и юношеского заведения. Сиротский приют был заведением с религиозным иудаистским уклоном, с посещением раввина по праздникам и каких-то еврейских богачей, членов правления благотворительного общества.

Надо полагать, что этот религиозный дух был одной из причин неладов между отцом и бабушкой. Отец был человеком сугубо антирелигиозным; ксендзов, пасторов, раввинов, он не выносил и называл не иначе как «длиннополые». Он не мог примириться с тем, что бабушка, женщина умная, по существу не придававшая религии большого значения, в своей личной жизни, соприкасалась так близко с этим делом, да и невольно втягивала меня в эту атмосферу. Но в отношении отца к этому вопросу все же не доставало последовательности. Он так любил играть на скрипке, что не устоял и дал согласие играть в синагоге в самый

большой еврейский праздник Йом-Киппур (Судный день). Играл он чудную древнееврейскую мелодию Кол Нидрей. С другой стороны, хотя отец на практике не отличался терпимостью, в теории он проповедовал ее. (Эту нетерпимость к чужим взглядам, особенно мировоззренческим, я, видно, унаследовал от отца, вдобавок оправдывая ее «принципиальностью», неправильно понятой мною.)

Как бы там ни было, сиротский приют долгое время был для меня чем-то светлым, чем-то выводившим меня из будней однообразной обстановки домашнего одиночества. Поэтому неудивительно, что я уделяю этому так много места, возможно больше, чем нашему «дома», которое представляло величину переменную. Мы несколько раз переезжали, все в тех же Виноградах. Родился я не то в Крамериовс, не то в Челаковского или же Коменского улице. Но названия этих улиц почему-то переменили. Позже мы жили в самых новых квартирах. Дома эти были четырехэтажные, и они, по очереди, были собственностью матери, ее приданым, капиталом, источником которого была кондитерская ее родителей, не то в Старой, не то в Младой Болеслави. В связи с какими-то неудачами с ценными бумагами или с крахом банка, где они хранились, дома перепродавались, менялись, и, наконец, переходили в другие руки. В последнем доме, на Шумавской, мы жили уже не как домохозяева, а как квартиранты, снимали четырехкомнатную квартиру. А после смерти отца в 1912 году нам пришлось переехать в Вршовице, в трехкомнатную квартиру, в более скромный район города.

Одна комната в этой квартире была парадной гостиной. Когда никого не было, я забирался туда. В ней, как правило, не поднимались тяжелые бордовые шторы, царил полумрак и только поблескивала мебель из красного дерева, стояла абсолютная тишина. На громадном столе тяжелое бордовое покрывало с вышитыми бабушкой выпуклыми цветами и длинными золотыми кистями, до которых я любил дотрагиваться. Персидский ковер на паркетном полу. Черный запертый рояль, на котором почти никто никогда не играл (хотя мама умела, а потом училась сестра), аквариум с золотыми рыбками, трюмо с посудой и серебряными приборами, масса безделушек, книжный шкаф и полки с энциклопедическим словарем Отто – одним словом, стандартное оснащение мещанской зажиточной квартиры. Я любил, предварительно сняв обувь, забираться тайком на красный кожаный диван, стоявший в углу, и, свернувшись калачиком, грезить. Но вскоре на меня находило какое-то оцепенение, начинало звенеть в ушах, я пугался, когда большие стоячие маятниковые часы отбивали свои мелодичные удары, и насилу, чтобы не потерять сознания, выбирался из этого заколдованного царства, куда, однако, через несколько дней меня снова тянуло. Когда же бывали гости, или в праздники, в дни рождения с обязательным тортом домашнего приготовления, и шторы открывались, или зажигался свет, то все преобразовывалось, все это чародейство исчезало, и я неохотно, по требованию родителей, выходил сюда к гостям.

Здесь же на Шумавской я пережил пожар (позже, в г. Ческа Каменице пережил наводнение, а в Андижане землетрясение; зато на мою долю выпало пережить не по одному из общественных катаклизмов).

Поскольку я пишу эти воспоминания в начавшийся век научно-технической революции, не могу пройти мимо и той эволюции техники, разумеется, не только осветительной, свидетелем которой я был на протяжении моей жизни. Помню, как керосиновые лампы-молнии сменились ацетиленом, газом, как на улицах появились сначала электрические углевые дуговые лампы, а потом уже лампы накаливания и, наконец, холодный свет. В раннем моем детстве в Праге еще ходила конка. Помню первые электрические трамваи, первые автомобили спортсменов и богачей, когда все ездили на извозчиках. А, если не ошибаюсь, в 1903 году мы ходили с отцом смотреть полет аэроплана – прибывшего из Парижа летчика Пегу. Он поднялся на своем легком фанерном моноплане на несколько десятков метров, сделал над футбольным полем, где это представление состоялось, пару-другую кругов, и благопо-

лучно приземлился, встреченный овациями зрителей. За все это зрелище настоящего чуда взималась всего одна крона.

Но техника развивалась во всех областях и проникала буквально во все поры повседневной жизни. В детстве и юности мы писали карандашами довольно плохого качества, грифелями на аспидной доске и, конечно, металлическими перьями. «Вечные» перья появились поздно, а первую шариковую американскую ручку я купил лишь в 47 году в Париже. Или взять бритвы. Они развивались от опасных к безопасным и электрическим, и мы настолько привыкли к последним, что, кажется, будто других никогда и не бывало. В моем детстве консервы были представлены лишь сардинками, считавшимися деликатесом, да «железным рационом» – мясными для армии. На всю Прагу существовал только единственный магазин на улице Скоржапка, где иногда бывали такие редкие фрукты, как бананы, а также креветки, крабы и даже устрицы! Был и единственный магазин Станека на Юнгмановой улице, с чаем и живым китайцем с косой – портье, для рекламы. Ребята со всего города бегали глазеть на него.

Но вернусь на Шумавскую. Здесь я подружился с сынишкой пекаря Шубрта, пекарня и магазинчик которого находились на углу, в доме напротив. Я любил приходить в пекарню и наблюдать, как месят тесто, формуют булочки и рогалики, караваи хлеба, как сажают все это в печь. Работа шла, конечно, вручную, трудился сам хозяин и единственный его работник, но как ловко и опрятно’ Во время работы они напевали чаще всего старые солдатские песни, перебрасывались шутками. Я мог часами стоять или посиживать на низкой скамеечке и тихо, с неослабеваемым вниманием наблюдать. И, разумеется, не последнее дело получить горячий маковый кренделек розанчик с изюмом и миндалем, или рогалик с солью и тмином, и есть их тут же, почти обжигаясь.

Мальчик Шубрт и я были однолетки и вместе поступили в первый класс начальной школы, которая стоит до сих пор такая же, какой я помню ее, рядом с садом, где я играл. С Шубртом мы играли в индейцев, а позже в буров. В наших играх оружием служили строго-настрого запрещенные самодельные рогатки, а также деревянные мечи и ружья. Покупного игрушечного пистолета с капсюлями, о котором я мечтал, у меня (в отличие от Шубрта – как я завидовал ему!) не было. Мой отец принципиально был против «милитаристических» игрушек. В этих играх на ближайшем пустыре большая роль в нашем воображении принадлежала «катакомбам», подземным ходам, будто бы ведущим отсюда, с Виноградского холма, не то на Вышеград или Жижков, не то даже – под руслом реки Влтавы – на Градчаны. Их якобы прорыли еще в давние рыцарские, а то и более ранние времена. Нечего и говорить, что это были просто канализационные, водо- или газопроводные трубы, где, во время «боя», мы стремились устраивать засады или укрытия.

Но больше всего любил я сад, тенистый, пахнувший липами и каштанами, с беседкой – в нем чувствовал я себя свободней. Здесь нет постоянного надзора, постоянных окриков, здесь не следят за каждым твоим шагом. Считается, что наблюдение ведется из выходящих в сад окон. А мама сидит у бабушки, увлечена беседой, я один. Совсем маленьких девочек (хотя они и старше меня, ходят в школу, а я поступлю туда лишь в будущем году) я презираю, они не в счет. А большие девочки – все они мои друзья, ведь они не стесняются вести при мне свои секретные разговоры, они мне доверяют.

Эти их разговоры происходили на «кухонном» чешском языке, в то время официальным языком приюта был немецкий. Как негодовал и возмущался отец тем, что это учреждение занималось германизацией девочек, попадавших сюда чаще всего из чешских краев. Эти богатые евреи – пытавшиеся ассимилироваться немецкой среде, стремились показаться превосходными немцами, австрийскими патриотами. А ведь было так: в приют принимались еврейские сиротки, безразлично с чешским или немецким языком, но поступали отсюда все без исключения в немецкие школы. А фрейлейн Поллак знала только «кухонный» чешский

язык. Понятно, что добрая половина девочек теряла год, а то и больше на изучение немецкого, не успевала в начальной школе, где над ними смеялись, обращались как с тупицами или лентяйками, не говоря уже об антисемитизме, который чувствовался среди немцев сильнее, чем среди чехов.

Все это сильно волновало отца. Но приют был благотворительным учреждением, частным делом и, разумеется, австрийские власти покровительствовали германизации.

Еще о нашем «дома». Прямой противоположностью большой парадной гостиной, была кухня. Несмотря на ее просторность, в ней всегда казалось тесно. Зато она была светлая, вся сияла, блестела посудой, кастрюлями. Для меня она считалась запретной зоной. «Арноштек, не ходи на кухню!» был один из многочисленных заветов, которые, однако, иногда мною нарушались, что, впрочем, у людей случается и с заветами скрижалей Моисея. Разве не любопытно наблюдать, как девушка, – «домашняя работница» Андулька или Боженка – они время от времени менялись – она же и кухарка, готовит, как разными незатейливыми ручными машинками там и мясо мелят, рубят, и картошку и морковку чистят, хлеб режут или сливки взбивают. Я клянчил разрешить мне тоже повертеть ручку, и, конечно, за свой «труд» получал вознаграждение – лизнуть.

Особое значение получала наша кухня осенью, когда варили варенье. Однако тогда уже пускали меня туда вполне законно. Сама мама усадит меня на высокий стул, завяжет на мне большой фартук, и вместе с ней я наблюдаю за всей этой церемонией. Но в то время как мама помогает своими советами, я «помогаю» тем, что выскабливаю нарочно с излишком оставленные пенки – остатки себе в рот. Скажу еще, что варенья варили у нас много сортов и сам процесс закупки ягод и фруктов для варенья был очень привлекателен. Их покупали на Тыловой площади – специальном базаре фруктов и овощей, куда я очень любил сопровождать маму и домработницу. Один вид этих пестрых красок на прилавках под простыми навесами или зонтами, за которыми сидели привезшие всю эту яркую снедь крестьянские бабы, одетые в национальные костюмы – чего стоит!

Я весь в отца

Дом на Шумавской улице, в результате все более нисходящих трансакций с ценными бумагами, был последним «нашим». Должно быть, эти потери привели к тому, что мои родители вынуждены были сократить свои расходы, а затем и потеряли эту недвижимость. У мамы это вызвало недоверие ко всякого рода финансовым операциям; презрение и ненависть к банкирам и биржевикам – у отца.

Отец, хотя и был строг и взыскателен, бывал всегда ласков. В то же время он был очень вспыльчив, и мог, сильно рассердившись, выйти из себя, однако, вскоре остывал, и во всяком случае не был злопамятен. Вспыльчивость – это один из моих недостатков (не говоря уже об упрямстве, «твердая головушка», как говорят чехи), который особенно сказывался в молодости. В состоянии аффекта я мог наговорить черт знает что, накричать, навредить себе, а потом, охладев, жалеть об этом. Но, как и отец, я быстро остывал, и если меня обидели, забывал, прощал обиду. Типичный характер холерика. С возрастом эта моя вспыльчивость постепенно стала уменьшаться, но горячность все же осталась, даже и ныне, в старости. Всякий раз, когда мне приходится выступать, все равно, с докладом или с лекцией, пусть в энный раз на ту же тему, я вновь и вновь горячусь, волнуюсь… У отца была привычка говорить очень отчетливо и громче, чем обычно говорят люди – это осталось у него от учительствования. Мама и ласкала, и чуть-чуть бранила меня одновременно. Она всегда о чем-нибудь хлопотала. Этот беспокойный ее характер я тоже унаследовал.

Отец занимался со мной, учил, воспитывал. Как я потом узнал от товарищей-школьников, в нашей среде это тогда было редким явлением. В других семьях отцы свое свободное время коротали за кружкой пива и картами в кругу друзей, за собственными интересами, или за развлечениями с супругой или на стороне. Отмечу, что не помню, чтобы отец когда-нибудь курил, ни сигарет, ни сигар, ни трубки, хотя у него всегда имелась большая коробка дорогих сигар «гавана» для гостей, а в его кабинете висела длинная черная трубка, с нарисованной на ее фарфоровой белой головке охотничьей сценкой, трубка с двумя зелеными кисточками. Чубук длиннее этого мне пришлось позже увидеть лишь у Ярослава Гашека. Гашек ухитрился провезти эту свою трубку в самую Сибирь, через фронты гражданской войны из Киева, где, как он рассказывал, раскуривая ее, ему ее подарил чешский пивовар. Я, как и отец, никогда не курил, и даже за всю свою жизнь ни разу не пробовал курить, в какой бы тяжелой обстановке, при которой чуть ли не каждый курит, я ни находился. Что же касается алкоголя, то виноградное вино было редкостью у нас дома. В праздники рюмочка или две. Однако пиво отец любил, конечно, в меру.

Как я уже сказал, отец моего отца был скрипичным мастером, чешско-братским проповедником и учителем в деревне Светла у подножья Шумавских гор, в захолустье «на Блатнэй», где мелкие арендаторы громадных фидейкомисных поместий князей Шварценбергов были пропитаны бунтарским сектантством гуситизма. Отца воспитывали религиозно, готовили в проповедники. Но он каким-то образом – здесь у меня пробел – приобщился к светскому знанию, к крамоле, и даже к вольнодумству, и, будучи горячего и настойчивого характера, четырнадцатилетним подростком порвал с семьей, сбежал из дому, вырвался из захолустья. После долгих странствований, он очутился в городе Колине. Здесь он работал упаковщиком на стекольном заводе, потом на зеркальной фабрике, в цехе. Но жажда знания его не покинула. Он стал посещать вечерние курсы, сдал экзамен, поступил в среднюю школу. Не имея средств, он жил общественной благотворительностью, обедал то у одного, то у другого энтузиаста нарождавшейся молодой чешской буржуазии, его увлекало это течение, возрождение чешского народа, чешского языка, борьба с австрийским абсолютизмом. Он перешел из средней школы в педагогическое училище, жил уроками, которые давал неуспе-

вающим школьникам – сынкам зажиточных людей, окончил училище и стал сельским учителем. Так он достиг своей цели: идти в народ, пробуждать его национальное самосознание, воскрешать полузабытую чешскую культуру, изучать быт народа, мечтать об избавлении от ненавистного австро-венгерского ига, от германизации, от двуглавого орла и черно-желтого знамени.

Этот революционный национализм был у отца тесно связан с его атеизмом, с воинствующей антирелигиозностью. Католическая церковь, по выражению выдающегося чешского философа Августина Сметаны, который сам был ксендзом-отступником, всегда была «подушкой» светской деспотической власти. Для моего отца не только «Вена» и «Рим» были одинаково ненавистны, но и всякую религиозную веру он считал поддержкой монархии. Ему так много пришлось перенести из-за фанатизма сектантов, что он хладнокровно, без злобы, – я бы даже сказал сейчас, с той же сектантской нетерпимостью, – не мог говорить о религии, что прямо-таки физически не переносил священников любого вероисповедания. Учительствовать он начал в знакомых ему родных местах, «на Блатнэй», а потом где-то под романтическим замком Орликом. Но учителем он был недолго. Через год или два он заболел воспалением легких, у него началось кровохарканье, врач запретил ему продолжать преподавание. Он не знал, чем жить, куда ткнуться.

Случайное знакомство с местным почтмейстером толкнуло его в почтовое ведомство. Он быстро подготовился и сдал экзамены по требуемым предметам на государственном немецком языке, которым он тогда еще не очень бойко владел. Ему дали в маленьком городке место низшего, нищенски оплачиваемого чиновника, нечто вроде приемщика почты. Но не прошло и пяти лет, а он уже в столице, продвигаясь по чиновничьим рангам все выше, настойчиво сдавал один экзамен за другим. Случайно он познакомился с мамой, влюбился в нее с первого взгляда, они поженились. Между прочим, это свойство «роковой» влюбчивости с первого взгляда передалось и мне «по генам», и оно несомненно стимулировалось еще и тем, что я в детстве бывал столько в среде девочек в сиротском приюте.

Про обстоятельства первой встречи моих родителей знаю, что мама была завсегдатаем вечеринок, человеком веселым, жизнерадостным, но никогда раньше не посещала те круги, куда пришла в тот вечер. Ведь это было чешское общество, а она вращалась исключительно в еврейско-немецком. Ее воспитали в таком же пансионе. Она тогда и не умела как следует говорить на языке «кухарок и дворников», каким чешский язык считали тогда немцы. А отец не посещал вообще никаких вечеринок, а тем более танцулек. Но на этот раз приехали старые товарищи по педагогическому училищу, уговорили его, затащили туда насильно – мол, должен сыграть на скрипке. И он играл, и мать и отец «нашли друг друга». Национализм и вольнодумство не помешали отцу совершить такую вопиющую «измену». Но ни в коем случае в этом не могло играть какой-либо роли то, что мама была богатая невеста, с большим приданным, достаточным для того, чтобы на него купить доходный дом, что она – дочь владельца кондитерского производства. Это не могло играть роли уже потому, что отец и не знал об этом, когда объяснялся ей: она долго разыгрывала его (из каприза, или чтобы «испытать» его), утверждая, что она круглая сирота и служит гувернанткой у дальних родственников – все это я знаю по ее рассказам.

Мне известно, что моя мать – тогда восемнадцати-двадцатилетняя девушка – была ужасно наивна. Ее духовной пищей были романы Марлит из аристократической жизни, слащавосентиментальной дамы, чьими творениями зачитывались тогда девицы, начиная с институток и кончая домашней прислугой. В отце мать могла полюбить его нестандартную внешность, и то, что он вообще не был похож на тех холеных молодых людей, с которыми ей до тех пор приходилось знакомиться. Отец был выше среднего роста, худощав, строен, с красивыми руками музыканта большими темно-карими глазами, выглядывавшими из-за пенсне. Он носил длинные, гладко причесанные назад волосы, иссиня-черные, такие же усы,

густые и закрученные вверх. Его громкий голос и выражение лица быстро менялись. Он не был привычен к вечеринкам, а поэтому вел себя не манерно, как было принято, а непринужденно просто. Но благодаря своей гибкости (у него была быстрая, изящная походка), он вовсе не производил впечатления неуклюжего провинциала.

Вот как я себе воссоздал первую встречу моих родителей. Родители моей матери не особенно обрадовались такому жениху: какому-то бедному чинуше, вдобавок чеху, «гою» и «безверцу» – человеку, воспользовавшемуся недавно изданным законом и официально вышедшему из церкви, что чуть было не привело к его увольнению из почтового ведомства. Но на сторону моей матери стала ее мать – моя бабушка Иоганна – уломавшая своего мужа фабриканта-кондитера дать волю единственной дочери. Карьера моего отца этим браком косвенно выиграла: он увеличил свое рвение и успешно карабкался вверх по иерархической лестнице. Уже при моей жизни – а я родился на второй или третий год после брака родителей – мой отец принял участие в конкурсе по случаю открытия в мировом курорте Карлсбаде (Карловых Варах) нового здания почтамта, куда требовались чиновники со специальными «международными» знаниями, со знанием языков, международных почтовых конвенций, и т. п. Он удивительно быстро подготовился и выдержал трудные экзамены. Назначение в Карлсбад он, правда, не получил (как он утверждал, из-за политических соображений назначили, конечно, немцев), но все же сразу перепрыгнул в категорию высших чиновников.

Вот он, отец, сочетание фанатика и идеалиста, с упорной энергией борьбы за существование. Тут, в одном и том же шкафу висит его мундир: парадная форма директора округа почт и телеграфов, оранжевые лампасы и нашивки, золоченые пуговицы с изображением ненавистного австро-венгерского двуглавого орла, стоячий высокий оранжевый воротник с жолудеобразными золотыми розетками (эмблема императорского дома Габсбургов), плетенные из золотых шнуров эполеты, треугольная комичная шляпа, «обросшая» черным пухом. И тут же простая потрепанная штатская одежда, та, которую он надевает в настоящие свои праздники, когда превращается в туриста, с рюкзаком за плечами и суковатой палкой в руке вспоминает свою молодость. Во много раз милее ему эта дубовая палка со стальным острием, чем смешной кортик, который приходится ему, ненавидящему все эти условные обрядности, нацеплять в государственные праздники, чтобы в белых лаковых перчатках, вместе с другими чиновниками, стоять в передней наместника или другого высокопоставленного лица. А все-таки, несмотря на свою искреннюю ненависть, как мне кажется, он не расстался бы с этим своим чином. Он стремится продвинуться выше. Он честолюбив, гордится тем, что собственным трудом, собственными усилиями «вышел в люди», что, несмотря на его политические взгляды, которые он не скрывает (конечно, не выходя за рамки закона), его не могут отставить и даже в меру выдвигают.

Странно мне теперь подумать, что эти два человека – отец и мать – люди, как будто мало подходившие друг другу, жили столько лет – 24 года – вместе. В самом деле, какие разные характеры, разный склад ума, разный кругозор, разные интересы! Отец – горяч, фанатичен, вспыльчив, мать – холодная, флегматичная, бесстрастная. Она – успокаивающаяся на каком-то месте, он – постоянно мыслящий, ищущий, беспокойный, непоседливый. Интересующийся всем – наукой, политикой, искусством. Она – вращающаяся в привычном кругу интересов о доме, семье, родне, театре, «обществе». Разве они могли быть, разве они были счастливы? Почему-то мать утеряла свою веселость, свою былую удаль, бойкость, которыми, как она сама рассказывала, она отличалась в молодости. Разве не потому, что чувствовала, что она не чета отцу, что ей не взлететь на те высоты, куда взлетал он, что стала слишком грузна не только плотью, но и духом? А отец? Почему это он бывает вечером, в «черный часочек» (в сумерках), когда, хотя уже стемнело, нарочно не зажигают свет, так печален, поет всегда грустные песни и играет еще более грустные мелодии? Почему он несравненно больше внимания уделяет мне, чем маме? Разве не потому, что ему тяжело живется, что он одинок, непо-

нят? Все его попытки найти в маме отклик, по-видимому, комкаются, упираются в стену. И хотя он и старается скрывать все это, но мама знает, чувствует, – она ведь вовсе не глупа, а, наоборот, очень чутка. Тогда она становится печальной, растерянной, и улыбается беспомощной, какой-то глуповатой улыбкой. У нее эта улыбка – признак величайшего волнения, смущения, а иногда и душевной боли. И эта ее улыбка еще больше раздражает отца. Эту улыбку матери я унаследовал. И она приносила мне немало горя. Бывало, в школе напроказничаешь, учитель сделает замечание, а я – улыбаюсь этой дурацкой улыбкой, на деле сопровождающей раскаяние, чем усиливаю его гнев. Ведь он-то не знает, что мне плакать хочется, а думает, что я смеюсь над ним!

Мама лишь постепенно овладела правильным чешским языком, тем чистым, строгим, красивым, пожалуй, даже немного педантичным, на котором говорил отец, и на котором говорили в кругах, где он – вне службы – вращался. Отец поэтому не вводил ее в свою среду, хотя, возможно, у него даже не было долгое время своего «общества» в столице – и всем этим вновь закреплялось это отчуждающее родителей положение. Было бы, конечно, преувеличением назвать его разладом, но как бы там ни было, мое сочувствие было на стороне матери, которую я жалел. Вероятно, это смутное чувство содействовало тому, что я – как я расскажу в дальнейшем – «переметнулся» от отцовского чешского национализма к еврейскому, так сказать, на сторону матери.

По существу религиозно холодная, безразличная, мама (которая, когда я стал постарше, высказывалась весьма скептически насчет существования бога: мол, если бы существовал всемогущий и всеблагий бог, то как он мог бы терпеть все те безобразия и несправедливости, которые беспрестанно творятся на земле», не то что по инерции, а благоговейно любила кое-какую религиозную восточную еврейскую обрядность. С трудом выговаривала слова по древнееврейскому молитвеннику (читать она его умела, и меня научила азбуке), но напечатанный рядом немецкий перевод молитв (по реформированному, не ортодоксальному культу), не интересовал ее, казался ей скучным, пустым. Можно было подумать, что она просто тешится узорами букв квадратного шрифта, странными звучаниями слов, причем вряд ли понимала больше дюжины из них.

Влечение к незнакомым, «таинственным» шрифтам свойственно было и мне. У меня с юношества имелась брошюрка Британского библейского общества – реклама его изданий переводов Библии на многочисленные языки, содержавшая один из стихов евангелия Иоанна («Ибо так Бог возлюбил мир…») на многих десятках языков. Я ею очень дорожил. Арабский шрифт, китайские иероглифы, обе слоговые японские азбуки – катакана и хирагана, индийские дева-нагари и бенгали, древне-германские руны, армянский, грузинский, монгольский шрифты, и, конечно, древнеегипетские иероглифы, гератическое и демотическое письмо, как и пиктограммы американских индейцев, – все это меня чрезвычайно занимало. Вероятно по той же причине я в средней школе стал посещать необязательные уроки стенографии, выучил ее, а затем, будучи уже в Советском Союзе, приспособил себе чешскую к русскому языку. И хотя я редко упражнялся в ней и не дошел до парламентской скорости, все же владел ею настолько, что однажды, когда не пришла стенографистка, сумел довольно сносно записать доклад Каменева на заседании Московского комитета партии.

Но, конечно, чтение древнееврейского молитвенника, которое бывало, впрочем, редко, по большим религиозным праздникам, с подсознательной традицией молодости, со смутными образами школы, где она училась (а она сначала посещала религиозную школу «хедер»), с образом ее отца, братьев, подруг. В синагогу она ходила крайне редко. Отец делал вид, что все это ему безразлично, что это ее частное дело, но в действительности нервничал, злился. Поэтому меня мама не хотела брать с собой. Но, разумеется, я все равно из любопытства настоял.

Как необыкновенно выглядела эта Виноградская синагога! (Гитлеровцы сравняли ее с землей, потому вероятно, что золотые шестиконечные звезды «щит Давида» на ее двух башнях, были видны высоко над панорамой Праги). Совсем непохожая ни на пасмурный католический костел, ни на такую же мрачную старинную синагогу, каких в Праге было несколько, в том числе и древнейшая в Европе «старо-новая», а также ни на трезвую, казарменную евангелическую молельню. Здание у нее было высоченное, все белое и золоченное внутри, розовое снаружи, в ложно-мавританском стиле, с множеством арабесок, и яркого электрического света (лампочки в виде свечей), но, конечно, без образов, икон, хоругвий, всего того, что запрещает иудаизм. Мужчины сидели в зале внизу на скамьях с высокими спинками, женщины на галерее, полускрытые от взоров мужчин. Когда я, еще совсем маленький, впервые выклянчил у мамы разрешение сопровождать ее, меня снисходительно, в нарушение всех правил, пустили к женщинам. Позже я садился в самую глубь зала, к мужчинам с покрытой головой, и смотрел, как они, не снявши шляп, в талесах, углублялись в свои молитвенники, и вторили странным беспокойным бормотаньям кантора, одетого в черный талар, читавшего нараспев перед амвоном. Но вот кантор начинает петь по настоящему. У него чудный баритон, так подходящий для старинных древнееврейских мелодий, в ответ поет хор, играет орган. Это особенность реформированного культа, подражающего христианскому. В ортодоксальном иудаизме эта «языческая мишура» не полагается. А здесь хор женский, поют хористки нееврейки, из городского театра, а соло поет известная певица-христианка.

Богатые евреи, в особенности еврейки, посещают по большим праздникам синагогу только для того, чтобы послушать музыку, пение, повидать знакомых, показать свои туалеты, наряды последней моды, выписанные из Вены и Парижа. Брезгливость, отвращение к ним и ко всему показному, к размалеванным личинам и вызывающим нарядам, привилось мне рано со слов отца. В этом отношении – под его же влиянием – моя милая скромная мама ушла далеко вперед от своей бывшей среды.

Мы с отцом, как только выдавалось в течение года свободное время и благоприятная погода, отправлялись на лоно природы. Еще в дошкольном возрасте мы излазили с отцом «Шарку» – дикую романтическую местность – большое ущелье, вроде каньона под самой Прагой (теперь недалеко от аэродрома Рузынь). Это ложе дилувиальной реки, согласно легенде, место, где предводительница матриархата Шарка сражалась в битве с мужчинами. Но я уже в этом юном возрасте посетил также «Сватоянские Проуды» в Штеховицах, – пороги реки Влтавы, где тогда с колесного парохода переходили на особый паром, молнией несшийся среди водоворотов и скал. Зрелище это было жутко захватывающее.

Отец таскал меня по всем музеям, водил в картинную галерею, к изумлению знакомых, считавших его чудаком. Такое воспитание развивало во мне чрезмерную, не по возрасту, впечатлительность.

Внимание, уделявшееся мне отцом, быстро развивало мои способности. Моя любознательность – а, возможно, любопытство – не знало предела. Мама чуть ли не до самой смерти вспоминала, как я приставал к ней, надоедал вечными расспросами, что позднее не делали ни мой брат, ни сестра, как я мучил ее вплоть до прихода отца со службы, который один умел подойти, успокоить меня, да больше того, занять мой ум, воображение, дать мне новую пищу для новых расспросов. При этом отец не учил меня, не обучал в принятом смысле слова. Ему всегда было противно наблюдать родителей, натаскивающих своих чад для показа: «Покажи, деточка, как хлопаешь в ладошки!», «Прочитай стишок про птичку’«, «Спой песенку’«, «Считай до десяти!». Он рано купил мне кубики с картинками и буквами, но строго-настрого запретил маме и няне натаскивать меня, а сам объяснял значение букв, только после моей настойчивой просьбы. Не знаю точно, сколько мне было лет четыре или пять – когда я выучил буквы и начал читать по слогам. Но твердо знаю, что в дошкольном

возрасте я уже умел читать, что читал для себя вслух и по-своему понимал прочитанное, простые сказки и рассказы для детей.

К моему пятому дню рождения среди подарков была книга чешских народных сказок Божены Немцовой. Эту книгу я перечитывал снова и снова, рассматривая цветные иллюстрации Миколаша Алеша, жил этими сказками. И эта книга – напечатанная на крепком картоне – сохранилась еще для брата и для сестры, с надписью посвящения ее мне и датой 6 декабря 1897 года, как свидетельство моей ранней грамотности. От чтения у меня еще больше развилась любознательность. Я стал задавать больше вопросов, в том числе придирчивых и щепетильных. Так, по рассказам мамы, уже в первое время, когда я едва научился складывать буквы, на прогулке я медленно тащился, останавливаясь перед каждой вывеской. Прочитав вывеску «Porodní bába» («Повивальная бабка»), я пристал к маме: «Расскажи, что это за бабушка!», и она, смущенная, насилу от меня отделалась. Вернувшись домой, мать все это рассказала отцу, и отец, приспособляясь к моему детскому пониманию, стал объяснять мне половой вопрос. Как бы там ни было, когда я начал посещать школу, я знал основы тайны зачатия и рождения человека и животных, и стал просто, естественно относиться к ним. Так был, не в пример другим мальчикам, которые или верили в аиста, или грязно хихикали и шушукались, найден выход.

Правда, эта простота отношений к половому вопросу заключала для меня и неудобство. Отец не посвятил меня в общественную сторону этого вопроса, и я не подозревал, что другие иначе смотрят на вещи, что они скрывают, прячут все это как какой-то позор, не подозревая, конечно, сколько ханжества за всем этим скрывается. И вот, однажды, случайно заговорив с мальчишкой по фамилии Копецкий вполне открыто об этом, я натолкнулся на смехотворно нелепые представления, – какую-то смесь «аиста» и чего-то теперь уже позабытого, грязного, отталкивающего. Я объяснил ему, как умел, но мальчик почему-то обиделся и наябедничал на меня дома. На следующий день в школе появилась его мамаша, пожаловалась учителю на меня, «развращающего» ее сыночка. Вызвали моего отца, дошло до столкновения между ним и директором школы. Потом, дома, отец попеременно то сердился (но не на меня), то покатывался со смеху, а мама всхлипывала. Наконец, отец кое-как разъяснил мне, в чем дело и «утешил» сообщением, что меня чуть было из школы не выгнали. Я должен был обещать, что о том, как родятся дети, я больше ни с кем не стану говорить. Это обещание я сдержал, что было тем легче, что меня сразу перевели в другой, параллельный класс, где ни с этим Копецким, ни с учителем, замешанным в эту историю, мне не пришлось сталкиваться.

Но, понятно, этот инцидент уронил как следует в моих глазах авторитет школы.

Неважный ученик

Сам переход в школу мною забыт. Помню только, что я поступил в нее в нарушение закона, в сентябре, хотя шесть лет мне исполнилось лишь в декабре. Приняли во внимание то, что я уже неплохо читал, и, должно быть, повлияло положение моего отца. Учился я с самого начала неровно. В то время как другие мальчики (школа была мужская) только еще учили буквы и учились складывать их, мне на этих уроках чтения бывало скучно. Что касается обучения письму, то дело продвигалось труднее. Я знал форму букв, но не умел как следует выводить их карандашом на бумаге, а еще трудней это удавалось чернилами – пером. Выходило грязно, размазано, неряшливо. Я писал с размаха, ставил одну кляксу за другой. А главное – буквы я ставил не косо с наклоном в правую сторону, а прямо, вертикально к линейкам, писал не кругло, а угловато.

Замечу, что устойчивость почерка явилась одной из причин того, что я не могу согласиться с отрицательным мнением о графологии, согласно которому графология, так же как психоанализ, является лженаукой. Что в почерке человека должен как-то – пусть опосредовано – отразиться его характер, и что, следовательно, возможно по почерку не только идентифицировать индивидуальность писавшего (что практически широко применяется в криминалистике), но и узнать некоторые черты его характера и даже настроение в момент написания – как мне думается, не находится ни в каком противоречии с научным, материалистическим мировоззрением. Впрочем, я убедился в этом лично с несомненностью, а как именно, расскажу сразу здесь, в этом отступлении. Студентом, я прочитал в газете объявление графолога, предлагавшего за небольшую плату, высылаемую почтовыми марками – причем его ответ можно получить до востребования, не указывая своего имени, чем исключается возможность, что графолог может обмануть, предварительно получив информацию о личности писавшего – по почерку любого написанного на полстраницы текста, определить характер написавшего его. Я рискнул кроной (или двумя, не помню), и что же? Быстро получил ответ, в котором поразительно были не только нелицеприятно отмечены все отрицательные черты моего характера, как: торопливость, вспыльчивость, упрямство, влюбчивость, и т. п., но было указано также, что я способен к абстрактному мышлению, в особенности к математике, и хотя я люблю фантазировать, мечтать, мой ум больше аналитический, чем синтетический и так далее.

Но не только чистописание, которому тогда в школах придавалось большое значение (ведь пишущие машинки были еще редкостью, имелись лишь в больших конторах), и не только рисование, но и арифметика удавалась мне с трудом. Правда, не было задачи, которую я бы не понимал, не знал, каким путем решить ее. Но также не было почти случая, чтобы я в самом вычислении, в умножении, а тем более в делении, не сделал какую-либо ошибку. Вся проблема была в таблице умножения. Сколько крови она мне перепортила! Сначала мы заучивали «малую», до 9×10, а потом «большую», до 9×100. А я противился этой зубрежке. Но, ведь, например, на стихи память у меня была отличная, я быстро и прочно их запоминал, особенно те, которые нравились мне своим содержанием, ритмом, некоторые из них я помню до сих пор. Но запоминание цифр было мучительно. Пять лет учился я в начальной школе, и пять этих лет были сплошной мукой по арифметике и сплошным праздником по родному языку.

Нужно еще рассказать о наказаниях. В Чехии общепринятыми были тогда телесные, попросту битье. Детей били дома в семье, били в школе. За то, что я писал прямыми, а не косыми буквами, учитель бил меня по пальцам и ладоням линейкой, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, будешь писать как люди!» У нас дома на кухне висела трость – их специально продавали для битья детей. Но мне чаще всего перепадали просто сорвавшиеся в гневе

шлепки, редко подзатыльники или пощечины, а уж в виде исключения как наказание за большой проступок, систематические удары этой злополучной тростью по мягкому месту.

Насколько мне помнится, я никак не мог усвоить школьную дисциплину. Полагалось проситься отвечать поднятием правой руки, а я порывисто соскакивал со скамьи, и без спроса вставлял свое слово. За это немало доставалось, случалось, что оставляли после уроков в классе, и в наказание еще заставляли бессмысленно переписывать целые страницы. Разумеется, этим все не кончалось. Дома мать стыдила, бранила, за «безнравственное» поведение. Повод к неприятностям давала и моя рассеянность, невнимательность к тому, что происходило во время уроков.

Кроме распроклятой арифметики, нелегко удавались и «побочные» предметы – рисование и пение. Мои рисунки были, как правило, ужасно замусолены, а, следовательно, браковались. А с пением было другое. Я почему-то невзлюбил учителя пения, и прямо-таки нарочно петь не желал. И хотя у меня был кое-какой музыкальный слух, я не развил вовсе своего голоса, а также не стал учиться играть. Но из этого не следует, будто я относился безразлично к музыке и пению. Глубоко в памяти у меня запали уже упомянутые вечерние часы, когда отец, бывало, поет и играет, – иногда даже из «Влтавы» Бедржиха Сметаны, или соло из какой-либо его оперы, – разве я не жил этими чудными звуками?

Если мои успехи в школе были всегда неважны, то мой кругозор за эти годы значительно расширился. Но прежде всего изменилась обстановка. В семье рос брат Рудольф, а позже родилась сестра Марта. Помню, что когда Рудольф достиг четырех-пяти лет, у него проявился тяжелый характер драчуна: заупрямится, войдет в ярость, бросается на пол, брыкается и колотит ногами, как лошадь, и зычно орет. Понятно, что в отношениях к младшему брату и сестре я выступал как совсем «взрослый». В дальнейшем у меня сложилось неодинаковое отношение к обоим. Мартичка, как ее все звали, пользовалась моим безграничным, безоговорочным покровительством. Рудольфика я порядком недолюбливал, может быть, за его непокорный характер, за упрямство, еще большее, чем мое собственное, за обиды, которые он, не стесняясь, наносил сестричке.

Но вместе с тем, у Рудольфа было необыкновенно мягкое, впечатлительное, полное жалости сердце. И хотя в нем отсутствовал интерес к школьному чтению и внимательность, а преобладало веселое баловство, он был очень одарен, быстро схватывал, но особенно его влекло к ритму, к музыке, к пению. Уже в самые молодые годы его голоском восторгались, как и позднее его игрой на скрипке, песнями, сочиненными им самим, импровизациями и композициями. У Марты был ровный, спокойный, мечтательный, полный нежности характер. Громадная впечатлительность, большое прилежание, усидчивость, дарование к отвлеченному мышлению. При этом она столь же прекрасно пела, как и рисовала и писала сочинения.

Как выглядели мои брат и сестра, какими они мне помнятся? Их фотографии, которые я получил в 45 году, когда вернулся в Прагу, от мамы, пропали при моем аресте в 48. Самая характерная черта внешности Рудольфа – это его кудрявая, как барашек, черная голова и большие лучистые глаза, гибкая подвижность всей его невысокой фигуры, красивые, тонкие руки скрипача. Марту я (да и не только я) считал восточной красавицей, не смазливой, а своеобразной, ее полуеврейское и в какой-то небольшой доле итальянское происхождение делало ее похожей на египтянку. Это, между прочим, сказалось и на моей дочке Аде, которая очень похожа на Марту. Темно-карие глаза Мартички отличались глубиной и добротой, а длинные, особого оттенка черные косы она, по тогдашней моде, заплетала венчиками над ушами. Очень грациозная, она обладала большим художественным вкусом и редким голосом, меццо-сопрано, тонким музыкальным слухом.

Между тем в моей школьной жизни происходили незначительные перемены. Я переходил из класса в класс, хотя и плелся с самыми посредственными учениками. Не готовил

уроков, шалил, грубил учителю, зачитывался Жюлем Верном и Карелом Майем с его индейцами, тяготился школой и жил ожиданием каникул. На каникулы мы всей семьей ездили в Северную Чехию, в настоящую деревню, в Бехчин, расположенную среди тихих лесов с пасеками, с вишневыми аллеями, с большим прудом, громадными равнинами пшеничных полей, со знойным солнцем, всем чешским деревенским бытом, этим сочетанием кирпичных, крытых черепицей, добротных, красивых домиков, бетонных хлевов и амбаров, благоустроенных шоссейных дорог, хорошо упитанных коров и лошадей, многолемешных плугов, молотилок, сеялок, и остатков чешских национальных костюмов – многослойных юбок на женщинах, как «шкурок у луковицы», по воскресеньям, их пышных чепцов, расшитых блузок, праздников урожая с гармошкой. Позже мы ездили в горы, в Чешско-саксонскую Швейцарию, на границу Чехии с Германией, в местность, заселенную преимущественно немцами.

С этой местностью, с городком Чешская Каменица, связано у меня очень многое; бродячая жизнь среди дикой природы, первая «настоящая» влюбленность, и первое острое ощущение социального неравенства, классовой природы общества, в котором я жил. Но все это относится уже к тому времени, когда я переходил из начальной школы в среднюю, и когда десяти-одиннадцатилетним стал внезапно «самостоятельным», так как перестал жить с родителями и превратился в нахлебника вдали от семьи. Дело в том, что как раз когда я должен был начать посещать среднюю школу, отца повысили в чине и перевели в провинцию, в Чешскую Каменицу, директором почты. Это было в духе австрийской политики «Divide et impera!» («Разделяй и властвуй!») – постоянных перебросок чиновников той или иной национальности в места, заселенные жителями другой национальности.

Чешская Каменица – городок небольшой, но все же промышленный, с хорошими электрифицированными текстильными фабриками, бумажными, машиностроительными и спиртными заводами. Расположен он очень живописно, на горной речке, среди извилистых, покрытых сосновыми борами гор, с развалинами рыцарских замков-крепостей на базальтовых скалах над горными потоками, с небольшими водопадами, с озерами. Еще перед переселением всей семьи, мы там прожили каникулы. Поселились мы в вилле одного из местных фабрикантов, Пильца. Вилла эта стояла в большом, полуискусственном, полудиком саду, с множеством фруктовых деревьев и кустов, с большим прудом посередине, где имелся и островок с фонтаном и гномами, подбрасывающими три разноцветных, стеклянных шара, и купальня, и беседки, и запущенные, заросшие непроходимой травой места.

В это первое наше пребывание в Каменице у отца был продолжительный отпуск, который он использовал для наших прогулок и туристских экскурсий по окрестностям, по горам, куда почти всегда брал меня с собой. Мы побывали с ним на многих развалинах замков, обошли все ущелья, ни одной горы, ни одного озерца не оставили без внимания, двигаясь по так называемой «Гребневой дороге» («Kammweg»), особенно рекомендуемой туристам. За спиной у нас были рюкзаки с бельем и едой, в руках горные палки с острием, пелерины, кепки. У отца имелась подробная специальная туристская карта, компас, бинокль, шагомер. Мы из принципа никогда ни у кого не спрашивали дорогу, и я выучился ориентироваться на местности по карте, узнавать направление и страны света по часам и солнцу, по признакам растительности в лесу, по звездам ночью. Впрочем, все это было почти и излишним, ведь на каждом шагу дорога была помечена туристскими условными знаками и указателями с обозначением расстояний, и все это содержалось в образцовом порядке. Самыми чудными были прогулки ночью, по вершинам гор, при свете луны, переходы через перевалы. Тогда мы шли молча, часами старались не нарушать тишину, любовались красотой освещенных призрачным светом, расстилавшихся глубоко под нами долин, с их игрушечными домиками в деревнях и курортах.

Иногда, натыкаясь на цветок альпийских лугов, на гусеницу, бабочку, мотылька или жучка, на птичку-красношейку, перышко сойки, или спугнув зайца, увидев совсем близко серну, повстречав рыжую или черную белку, найдя особую породу камней, отец в ответ на мои вопросы рассказывал мне все, что только знал, пополняя мои скудные знания более глубокими сведениями из естественных наук, которые сохранились у меня с поры его учительствования, и которые он расширял, читая выписываемые им научно-популярные журналы.

Влюблен в Лилавати

Но после этого райского блаженства предстояла суровая действительность. Мне надо было поступить в среднюю школу, сдать вступительные экзамены и жить в Праге одному, в чужой семье. Не стану же я в Каменице учиться в немецкой гимназии! Несмотря на настойчивые советы учителя, на его указания, что у меня полностью отсутствует склонность к математике, так как я ухитрился путаться в таблице умножения, что нет дарования к рисованию, а значит и к черчению, но зато имеются способности к чешскому языку, к свободному изложению, к стихотворной форме, и что не следует посылать меня в реальное училище, где я несомненно провалюсь, а в классическую гимназию, окончив которую я смогу стать не то писателем, не то адвокатом (я лучше всех в классе декламировал) – отец не послушался этих советов. Он хотел, чтобы я стал инженером – электроинженером, «Техника – это будущее!» – было его девизом.

Отец жалел, что ему самому не пришлось отдаться изучению природы и техническому творчеству, созиданию. Вот он и хотел увидеть меня работающим на этом поприще, но так и не дождался этого. Кроме того, он считал, – а тогда в самом деле в начавшей быстро развиваться чешской промышленности был большой недостаток инженерно-технических сил, – что как инженер я легко смогу найти хорошую работу, стать «независимым», то есть не буду принужден есть хлеб «блестящей нужды» государственного чиновника. Но эти его расчеты были опрокинуты жизнью: я не пошел по намеченному отцом пути, и условия рынка труда стали совсем не те – так же как и мой отец, рассуждали в то время тысячи других родителей, и через пять-шесть лет появился в Чехии излишек безработных инженеров всех специальностей. Но как бы там ни было, меня определили в реальное училище, где мне предстояло проучиться семь лет, переходя из «примы» в «септиму», затем сдать экзамен зрелости, чтобы получить право поступить без экзамена в высшую политическую школу, а также служить вольноопределяющимся, то есть один год вместо трех, на военной службе.

В пустом, кажущемся гигантским, подавляющем своей величиной здании реальной гимназии «на Сметанке», вмещающем около 500 учеников, все классы были параллельные, «А» и «В», а первые классы даже «А бис»; здесь разместили по нескольку мальчиков в пустых классах, на приличном расстоянии друг от друга, чтобы они не могли списывать, и в присутствии «суплекта» (стажера) дали нам письменную работу. Собственно, были четыре темы, распределенные в шахматном порядке – еще одно средство против списывания. Суплект называл нас на «вы», относился до оторопи холодно, строго. Работу по чешскому я написал хорошо, возможно, даже отлично. По арифметике же, хотя «ход» был правильный, результат оказался неверным, я допустил неизбежные числовые ошибки в каком-то действии. К моему великому ужасу и огорчению, меня не оказалось в списках сдавших, принятых, который быстро и невнятно прочитал строгий «господин профессор». Значит, я провалился, что скажут дома, что будет со мной, что я буду вообще делать? Я еле сдерживался, чтобы не разреветься. Но вот «он» берет второй список, очень короткий, и заявляет, что такие-то останутся еще для дополнительного устного экзамена по чешскому языку, а такие-то по арифметике. И среди последних я слышу свою фамилию.

Как я обрадовался! Значит, еще не все потеряно. Я знал, что я спасен. Меня позвали к доске и дали задачку – помню по сей день, с какими-то бочками вина по такой-то цене, а другими – по другой. Вино смешивают, спрашивается, по какой цене будет литр смеси. Я, не стесняясь, по привычке, тут же выпалил, как надо задачку решать, написал на доске такое-то деление, а перед тем, как начать проводить его, дерзко заявил, что тут-то, в цифрах, я могу наврать. Экзаменующему не особенно-то понравилась моя выходка, я до сих пор помню, как он пристально, из-под очков, всматривался в меня, покачивая головой, но все же помог мне

перебраться через эти камни цифровых невзгод и милостиво пропустил меня в «реалку», посоветовав «обязательно поупражняться в вычислениях»

Родители устроили меня у каких-то дальних бедных родственников матери, в семье коммивояжера Корнфельда, на пятом этаже старого пасмурного дома. Думаю, они руководствовались тем, что отсюда было рукой подать до сиротского приюта, к бабушке, и тем, что в этой семье был сын Феликс, старше меня на четыре года, примерный во всех отношениях парень, и, наконец, тем, что для бедной семьи плата за содержание нахлебника представляла значительное подспорье.

Семья Корнфельдов была своеобразна. Все они были оригиналы-чудаки. Отец семейства, высокий, худощавый, преждевременно поседевший, с длинной бородой, был типом аскета, человеком совершенно другого мира, чем тот, в котором проходила вся жизнь вокруг. Он был глубоко религиозен, еврей-ортодокс, один из тех, относительно немногих, которые остались в Праге от старого гетто. По утрам он, когда все еще спали, вставал и долго молился, бормотал, раскачиваясь, на странном непонятном языке, тягучие молитвы, обматывал, одетый в белый балахон с черной каймой и длинными кистями – в таллес – ремни «тефилин» вокруг руки и лба – и, что всего страннее, – все это скрывал, скрыл и от моих родителей, когда договаривался с ними о моем поселении в его семье. Никакая профессия не подходила столь мало к этому человеку, как та, которой ему, по какой-то злой иронии судьбы, приходилось заниматься. Как коммивояжер шляпной фирмы, этот молчаливый религиозный фанатик должен был красноречиво болтать, убеждать, заманивать покупателей – провинциальных торговцев, что ему, должно быть, удавалось туго.

Пани Корнфельдова была маленького роста преждевременно состарившаяся женщина, с виду старушка, вся в морщинах, но ласковая, всегда улыбающаяся, хлопотливая, боязливая, добрая. Кроме сына Феликса, о котором речь будет впереди, у них была дочь постарше, Клара, некрасивая, сентиментальная старая дева, работавшая где-то конторщицей, и непрерывно читавшая слезливые немецкие романы. Феликс учился в гуманитарной восьмикласснной гимназии. Он был первым учеником в классе, до болезненной щепетильности аккуратен и прилежен. Ему поручили наблюдать за мной, помогать мне. За это он взялся не без чувства превосходства.

Меня поселили в крохотную комнатушку Феликса. Прошло немало времени, пока мы с ним по-настоящему подружились, его наставнический тон не мог, конечно, способствовать дружбе. Первое время с моей стороны была даже затаенная вражда к нему. Ведь он не без надменности запретил мне трогать стоявшие на этажерке его книги: «Арношт, они не для таких маленьких, как ты!» А ведь эти книги были всего-навсего его школьные учебники! Этот запрет вызвал прямо обратное действие. Когда Феликса не было дома, я тихонько брал с этажерки какую-нибудь его книгу, заглядывал в нее. Но оказалось, что все эти учебники латыни, географии, истории были так скучны!

Исключение представляли собой только две книги: толстый полный курс алгебры Тафльта-Солдата (с четвертого по восьмой класс) и столь же толстый сборник задач к нему. Меня привлекали эти непонятные закорючки. Возможно, я принимал их за своеобразный шифр. Я начал жадно читать учебник, написанный деревянным языком старой школы, однако, по-видимому, учебник был, тем не менее, вовсе не плох, ведь мне почему-то все показалось простым, понятным, и я не понимал только одного, почему тому же Феликсу алгебра кажется трудной. После прочтения первой главы учебника, я принялся за задачник. Стал решать задачи, все подряд, не пропуская ни одной, решал не только с любопытством, но и со спортивным азартом, – сойдется ли с решением, помещенным в конце задачника – так рьяно я до этого решал лишь шарады и ребусы в детском журнале «Malý čtenaf» («Маленький читатель»), регулярно выписываемом для меня отцом.

Эти свои занятия алгеброй, ставшие регулярными, я держал в строжайшей тайне. Сама эта тайна доставляла мне наслаждение, она была своего рода игрой. Но для занятий требовалось много времени – оно шло за счет подготовки к урокам. И много нужно было бумаги – я исписывал все школьные тетради. Думая о задачах, я стал рассеянным, нервным, плохо ел, привередничал, тем более, что еда у Корнфельдов была намного неприхотливее той, к которой я привык дома. В классе я стал невнимательным, получал плохие отметки. Получал и замечания по поведению за то, что под партой решал свои задачки, а за мои подсказывания на математике меня наказывали.

Приближались зимние рождественские каникулы, время ожидания получения годового аттестата в первом классе и поездки домой, к родителям. Однако, незадолго до рождества случилась катастрофа. Вся моя тайна вышла наружу. Феликсу математика давалась трудно. И вот в один зимний вечер, он взволнованно бегает взад и вперед по нашей комнате – не знает, как составить и решить заданную на дом контрольную задачку. Как я и сейчас помню, она сводилась к системе простых квадратных уравнений, с двумя неизвестными, и гласила примерно так: «Даны периметр и площадь прямоугольного треугольника. Требуется найти его стороны». Я, который за это время, за три с лишним месяца, успел уже добраться до логарифмов, наблюдал взволнованного Феликса сначала не без злорадства. Все же я сделал робкую попытку помочь ему, начал расспрашивать о задаче. Он резко грубо огрызнулся: «Все равно ничего тебе не понять, не такому мальчишке соваться в такие дела!» Меня, понятно, взорвало, и я упорно твердил про себя: «Ну и мучайся, тогда, дурак, ни за что не помогу!»

Но все же, наконец, я не выдержал. Я сел на кровати и заявил спокойно и неожиданно для Феликса, полагавшего, что я уже сплю: «Я умею решать такие задачки». Прежде чем возмущенный Феликс успел вставить слово, я соскочил с постели как был в одной ночной рубашке, бросился к столу, заглянул в его тетрадь, схватил карандаш, написал нужную пару уравнений, и тут же и те несколько строк, требуемых для их решения, и не проронив ни слова вернулся обратно в свою постель. Вся эта сценка поздним вечером была чем-то нелепа, театральна. Ошеломленный Феликс, не понимающий всего этого «чуда», сначала было попытался, когда убедился, что ответ сходится, пристать ко мне с расспросами. Но я отвернулся к стенке, сделав вид, что засыпаю, а потом в самом деле быстро заснул тяжелым сном. А Феликс, как выяснилось позже, разревелся от обиды, побежал к своему отцу жаловаться.

Утром, когда я проснулся, что тут творилось! Разразилась настоящая буря. Отец Феликса допрашивал меня – это было просто следствие. Но я и не стал отпираться, рассказал все. И то, что брал без спроса книги, и то, что решал задачки, и то, что ложью выманивал у бабушки деньги на тетради, и что в «реалке» плохо учусь. Тогда меня всей собравшейся семьей то бранили, угрожая, что меня выгонят из школы за плохие отметки, то переглядывались, удивляясь, как это я без руководителя в каких-то четверть года справился с тем, чему в школе учат чуть ли не три-четыре года. В результате, Корнфельд пошел в мою «реалку», справился о моих «успехах», узнал, что они до того неважны, что мой перевод с первого на второе полугодие стоит под вопросом. После этого он зашел к бабушке, рассказал ей все, и они оповестили письмом отца.

Отец немедленно приехал в Прагу. Работа в национально чуждой, даже враждебной обстановке, где ему приходилось быть постоянно начеку, опасаясь разных подвохов, сделала его еще более раздражительным. Тем не менее, приехав, он поговорил со мной вполне спокойно, обсудил, как со взрослым, создавшееся положение. Против моего опасения, он на сей раз не вспылил, не пришел в ярость, а заключил со мной своеобразный «договор»: «Ты, Арношт, должен дать слово, что будешь делать школьные уроки, готовиться, учиться, пусть только так, чтобы без затруднений переходить из семестра в семестр, из класса в класс. Большего я от тебя не требую, не обязательно, чтобы ты приносил одни отличные отметки.

Зато ты можешь заниматься математикой, чтением, всем разумным, что тебя интересует, и никто не станет тебе в этом препятствовать». И отец пошел в школу, переговорил с преподавателями, а, может быть, и с директором, и мне дали возможность исправиться по тем предметам, по которым мне угрожал провал. А сам купил мне учебники и задачники – алгебры, планиметрии, стереометрии, тригонометрии, начертательной геометрии для высших классов, и повел меня в виноградский «Народный дом», где записал в публичную библиотеку с правом брать книги на дом. Вот каким человеком, каким подлинным педагогом был мой дорогой отец, понявший мою влюбленность в древнеиндийскую богиню математики, прекрасную Лилавата, она же богиня времени, которая, прикоснувшись раз в столетие в танце своей воздушной вуалью к гранитной скале, по песчинке сносит ее.

Вскоре наступило рождество, двухнедельные каникулы, и я поехал домой в Каменицу, с аттестатом, хотя и не ахти каким блестящим, но все же переведенный на второй семестр. Конечно, по математике у меня была – чуть ли не единственная – высшая отметка. Это было мое первое самостоятельное путешествие поездом, причем шестичасовое с пересадкой поздним вечером. Каким я чувствовал себя важным, когда другие пассажиры со мной заговаривали, и когда на пересадочной станции мне пришлось изъясняться по-немецки.

Но две недели пролетели чересчур быстро. После моего возвращения в Прагу, весь школьный год прошел однообразно, как прошли и все последующие первые четыре года моей учебы в средней школе. Я сознательно прилагал лишь минимум усилий и стараний, был не очень внимателен в школе, а дома лишь в редких случаях готовил уроки как следует. Все только так, чтобы как-нибудь вытянуть и не провалиться. Некоторые предметы вызывали во мне прямо-таки отвращение, причиной чему был всегда преподаватель. Самыми ненавистными были для меня вплоть до «кварты», четвертого класса, где преподаватель сменился, география и история. Оба эти предмета преподавал аббат Гнидек, член ордена иезуитов. Тощий, костлявый, с длинным иссохшим лицом, в очках, одетый иногда в штатский черный костюм, а иногда в сутану, он был настоящим страшилищем, его боялись все.

Я вскоре попал в немилость к Гнидеку. Виною тому были элементы математической географии, входившие в программу, – почти для всех учеников самая трудная часть географии, для меня же единственная, не показавшаяся мне скучной. И вот, я посмел полюбопытствовать, когда пришлось наизусть заучивать таблицу изменяющихся длин градусов широты, какова закономерность этой таблицы, и тем самым попал сразу в «дерзкие» ученики. С тех пор придиркам Гнидека не было конца.

Преподавателем французского был профессор Повр, по происхождению француз. Это был низкого роста шустрый человечек, беспрерывно бегавший по классу, согнувши полудугой ручки и спрятав кисти в рукава, и еще быстрее говоривший с нами, причем только по-французски. Повр был фанатиком чешско-французского сближения. Он полагал, что Франция в будущем, когда Чехия станет самостоятельной, сможет помочь устоять против поглощения ее немцами, но в этом, как известно, он, увы, ошибся. И не он один. И так же, как ошиблись те, кто полагали, что благодаря дружбе с русскими Чехословакия сохранит свой суверенитет. Неужто, таков удел всех малых стран?

Но Повр был таким же фанатиком своей системы преподавания. Она состояла с одной стороны в том, что на уроках, с самого начала, говорили только по-французски, и это было замечательно, а с другой стороны, в том, что надо было зазубривать слово в слово все грамматические правила, все те исключения, которых во французском языке так много, и это было плохо.

С зубрежкой я никак не мог примириться. Однако, несмотря на то, что я ею не занимался, я все же стал понимать французские книжки, которые охотно брал из школьной библиотеки, что, тем не менее, не улучшало мои отметки. Повр, проведавший, что я читаю французские книжки, причем не заглядывая в словарь и не делая – как по его указаниям

требовалось делать – никаких выписок непонятных выражений и оборотов, относился ко мне как к преступнику, лентяю и озорнику. Вдобавок к плохой отметке по языку я получал от него наказания и замечания по поведению. Должен подчеркнуть, что все же позднее я понял, насколько я обязан бедному Повру, которого мы так незаслуженно обижали, как будто неплохим знанием французского.

Больше света приносили уроки родного чешского языка. Преподавал его профессор Лориш, добродушный, веселый, почти совершенно лысый толстячок. Зубрежка, правда, и у него присутствовала, – требовалось знать на память всякие там обороты склонений и спряжений, – но центр тяжести был все же в понимании прочитанной чешской классической художественной литературы и умении пересказать, разобрать, написать сочинение, продекламировать стихи, не только выучив их наизусть механически, но и с «чувством».

Однако наибольший интерес и удовлетворение вызывали у меня уроки нашего классного руководителя профессора Апльта. Это был статный мужчина с лицом странного желтовато-коричневого цвета, с длинными, зачесанными назад вороно-черными волосами и длинной, такого же цвета ассирийской бородой, длинными желтыми ногтями. Он был холостяком, носил золотое кольцо непривычной формы, с большим резным аметистом, про которое, как про магическое, у нас, мальчиков, ходили различные легенды. Говорил и двигался он медленно, с каким-то особым достоинством, словно жрец, и, как нам казалось, часто говорил с таинственным – как я бы назвал это теперь – подтекстом. Да, нас всех пугало и вместе с тем привлекало что-то загадочное в этом человеке. Загадочными были его большие блестевшие черные глаза с желтыми белками, и даже почему-то его неизменный черный костюм непривычного покроя. Таинственны были слухи, которые шепотом передавали ученики старших классов во время переменок в длинных, гулких, вымощенных каменными плитами коридорах «реалки».

Апльт был атеистом, вольнодумцем, будто бы даже франкмасоном. О нем распространяли всяческую клевету, то – будто он сифилитик, то гомосексуалист, он – так они утверждали – был членом правления атеистического общества «Вольная мысль», писал для его журнала, подвергался преследованиям со стороны начальства. Но почему-то начальство его побаивалось, не очень-то трогало. Он стоял особняком от своих коллег, действовал по-своему: строго не придерживался программы преподавания, не ставил – как другие – непрерывно отметки, не заставлял класс, когда его урок был первым с утра, читать молитву. Он преподавал математику, физику, химию, биологию и все естественные науки. Он был человеком, знающим и любящим свой предмет, чутким учителем, по-человечески понимавшим психологию подростков. Я обязан профессору Апльту очень многим, с искренней благодарностью вспоминаю о нем. А ведь на уроках математики я доставлял ему много неприятных минут.

Вот он выводит на доске доказательства какой-либо геометрической теоремы или показывает решение алгебраической задачи. А я без спросу вскакиваю со своего места и перебиваю его: «Господин профессор, это можно сделать проще!», и уже бегу к доске. А то по физике задаю чересчур каверзные вопросы. Но Апльт не сердится, или, по крайней мере, не показывает виду, что сердится, что я подрываю его авторитет, и только мягко замечает, что не годится без спроса перебивать его. Более того, он всегда помогает мне советом, рекомендует, что почитать. Помнится, благодаря ему, я заинтересовался проективной геометрией, начал приобретать постепенно всю серию немецких сборников Гешён. В классе, где чуть ли не у каждого школьника имелось свое прозвище, меня прозвали «Архимед».

Но тем не менее в то время школа была для меня лишь неизбежным злом, и только. Настоящая моя жизнь была в книгах. В библиотеке «Народного дома» я стал одним из самых ревностных абонентов. Читал я главным образом беллетристику, как чешских авторов, так и переводы иностранных романов выдающихся писателей, но попадались и книги по фило-

софии, научно-популярные сочинения. Я читал без руководства, без разбора, многое, надо полагать, вовсе не понимал, или понимал превратно. Читал нечеловечески быстро, прямотаки глотал книги. Прочел я и «Антропологию» Тейлора, которая произвела на меня сильное впечатление. Это был один из первых и вероятно наиболее сильных систематических стимулов материалистического миропонимания, которые дошли до меня. К тому времени – мне было около тринадцати лет – относится и моя первая любовь.

Летом, как всегда, я приехал домой на каникулы, в Чешскую Каменицу. Однажды моя пятилетняя сестричка засиделась долго в гостях у своей подружки. Меня послали за ней. Подойдя к садовой калитке, я позвонил, и в дверях виллы показалась, освещенная бликами витражей, девочка. Длинные, золотистые косы. Одета в национальный костюм тирольской крестьянки. Заикаясь от смущения, я пролепетал: «Я брат Мартички, пришел за ней, уже поздно, извините…» Это была романтическая, платоническая страсть, о такой я зачитывался в романах. Я стал пропадать из дому, подкарауливал издали Густль. Мартичку я ходил провожать и, конечно, заходил за ней. Стал плохо есть, худел. Моим излюбленным местом был теперь высокий холм, поросший густой травой, в которой водилась лесная клубника «травница». Это был холм Заттельсберг, высившийся над городком. С него видна была и вилла, где жила «моя Густль». Там я сочинял чешские стихи, и немецкие в прозе, своего рода подражания Бодлеру. Я записал их в альбом Густль. Мое увлечение длилось два-три года. Оно побудило меня изменить свое отношение к школьным занятиям. Я рассуждал так: для того, чтобы заслужить «ее», надо мне стать кем-то стоящим, даже выдающимся, надо стать лучшим, первым учеником. И, начиная с пятого класса, в моих школьных занятиях наступила резкая перемена, я стал внимателен в школе, что оказалось достаточным, чтобы сразу перескочить на место второго ученика, всего за одно полугодие.

На совершившийся во мне переворот, причины которого были, понятно, окружающим неизвестны, реакция была неожиданной. Все ругали. Учителя, да и мама, говорили: «Так вот, оказывается, ты мог отлично учиться, а просто не желал!» Но, как и полагается для всякой романтической любви, моя любовь была несчастной. Когда, наконец, в одни из очередных каникул, – мне было лет пятнадцать, – я настолько осмелел, что признался Густль в своей любви, то встретил смех этой тринадцатилетней девочки. Более того, Густль рассказала все своей матери, чопорной фабрикантше. Мне сразу запретили появляться там. Для меня это был двойной урок: социальный и национальный. Сказалась разница общественного положения родителей – капиталиста и чиновника, равно как и национализм, антисемитизм – чистокровные арийцы-немцы и «полукровка», не то чех, не то еврей. Судетские немцы уже тогда славились своим шовинизмом. Я тяжело переживал этот удар.

Романтизм двух национализмов

А со следующей осени Густль отвезли во французский пансионат, в Лозанну. Только спустя год я получил от нее оттуда открытку с видом Женевского озера. Но было уже поздно. Боль была забыта, мое увлечение Густль сменилось другим, хотя и не любовным, но не менее страстным, и, во всяком случае, более захватившим всего меня. Я стал еврейским националистом. Этому содействовало все мое развитие. В националистическом романтизме, правда, чешском, воспитал меня отец, воспитывала школа, вся обстановка в Праге, в Чехии. Да и вся Австро-Венгрия с ее одиннадцатью национальностями кипела их непрекращающейся борьбой между собой. Угнетение прежде столь славного, высококультурного чешского народа, его героическая борьба за сохранение самобытности, за свое возрождение, против насильственной австрийской германизации – все это было центральной темой художественной литературы, преподавания истории даже в ее столь засушенном виде, все это наполняло рассказы отца о его деятельности странствующего учителя. Пьяные «бурши» – студенты имеющихся в Праге параллельно с чешскими немецких университета и высшей политической школы, у которых было свое казино на одной из главных улиц города, «На Пржикопе» (ныне там помещается «Славянский Дом»), шествовали в своих цветных фуражках, кичась шрамами от дуэлей, орали свои воинственные песни, задевали прохожих, постоянно всячески провоцировали столкновения с чешской молодежью, с чехами, составлявшими девять десятых населения столицы. Разумеется, что австрийская полиция закрывала глаза на эти бесчинства.

Ядовитые стихи Гавличека, полные ненависти к австро-венгерской монархии, к Габсбургам, к католической церкви, литература, напечатанная лишь после интерполяции в парламенте (однако все же при монархии было возможно печатать то, что подрывало самые ее устои, а в СССР, в так называемой социалистической, самой «демократической» стране, нельзя было опубликовать ни одной строчки, критикующей не строй, а лишь политику ее правителей) – вот что любил на память декламировать мой отец, что давал мне читать.

Романтизмом я был пропитан насквозь. Этому содействовали и классики, в том числе и немецкие издания Гете, Шиллера, Гейне, Лессинга, а также и Шекспира, которые принадлежали маме. Мой отец посещал какой-то патриотический клуб. У него, чуть ли не рядом с его австрийским официальным мундиром почтового ведомства, висел в шкафу длинный сюртук со шнурами вместо пуговиц – старое чешское патриотическое одеяние.

Переход от чешского национализма к еврейскому свершился во мне с необычной легкостью. Разве евреи – а я ведь был не только чехом, но и евреем – не были национальностью, еще более угнетаемой, гонимой и беззащитной, чем чехи? Ведь были чехи-антисемиты, но не было евреев-античехов! Но, конечно, кроме подобных, чересчур отвлеченных, идущих от разума, соображений, действовали на меня другие факторы, эмоционального порядка.

Прежде всего, романтизм подкреплялся всей той атмосферой национальной освободительной борьбы, которая охватила Европу в начальной стадии наступления империализма на рубеже XIX–XX веков. В англо-бурскую войну симпатии чехов были, естественно, всецело на стороне буров, и мы, мальчишки, в своих играх нещадно били «англичан» и страдали от каждого газетного известия о поражении буров. В русско-японской войне, понятно, по давнишней славянофильской традиции, симпатии чехов были на стороне русских, каждое поражение которых переживалось больно, как собственное. То, что буры сами станут жесточайшими угнетателями африканцев, не приходило никому в голову. И то, что удары японцев объективно ударяли по русскому самодержавию, не доходило, конечно, до нашего сознания.

Но было и другое. Была волна дикого, звериного антисемитизма, прокатившаяся, начиная с 1894 года, по всей Европе. Сначала во Франции, в этой образцово просвещенной

стране, в стране «свободы, равенства и братства», разыгралась «дрейфусиада». Офицер генерального штаба еврей Дрейфус был ложно обвинен в государственной измене. Знаменитого Золя, выступившего с открытым письмом «Я обвиняю» к президенту республики в защиту невиновного, суд осудил, и он вынужден был бежать в Англию. И лишь в 1906 году Дрейфус был полностью реабилитирован.

В самой Чехии в 1899–1900 годах разразилась «гильзнериада». Еврея-бедняка Гильзнера ложно обвинили в убийстве христианского мальчика, причем, якобы, для получения крови в мацу. Против этого антисемитского процесса, затеянного австрийской реакционной юстицией, поднялся протест всей передовой чешской интеллигенции с Масариком во главе. А в 1913 году, в России, такое же клеветническое обвинение в ритуальном убийстве создало «дело Бейлиса» – судебный процесс, организованный царским правительством, сопровождавшийся погромами, против которого выступили Горький, Короленко и другие.

Хотя в чешском народе никогда не бытовал антисемитизм, в то время вспышка его стихийно поднялась. Это проявилось не только в погромах еврейских лавок и магазинов, в Праге и в ряде других городов, – дело рук люмпенов, подонков большого города, – под покровительством полиции – но и в антисемитских надписях на заборах, проявилось в поведении учеников в школах, оскорблениях, наносимых на улице людям семитской наружности. В связи с этой вспышкой антисемитизма, отец любил цитировать слова поэта Яна Коллара: «Тот, кто в оковы сажает рабов – сам раб» – изречение, несправедливо жестоко сказавшееся на судьбе в сущности доброжелательного чешского народа, и висящее угрозой над израильтянами, не желающими понять, что единственная их надежда – в братании с арабами.

Мой отец ратовал за идею «Чешскому ребенку место в чешской школе». Этот лозунг он распространял и на детей евреев, горячо спорил с родственниками матери, в особенности с дядей Лангером, виноторговцем, лавочка которого пострадала во время погрома. Помню, однажды я присутствовал при таком споре, и со свойственной мне неуместностью совать свой большой нос повсюду, вмешался в разговор взрослых, встал на сторону дяди. «А я думаю, что еврейскому ребенку место в еврейской школе, а не в чешской или немецкой», заявил я с апломбом, так, как мне подсказывала моя логика, не принимая во внимание, что никаких еврейских школ в Чехии не существовало вовсе.

Это было мое первое «политическое» выступление и начало все более усиливавшегося расхождения с отцом, начало моего еврейско-националистического увлечения. Да, я, лет пятнадцати, знающий в объеме средней школы всю алгебру и геометрию, начавший изучать высшую математику по французскому учебнику Серрс, решавший конкурсные задачи из приложений для средней школы «Журнала чешских математиков и физиков» и регулярно получавший призы, опять-таки математические книги, я, влюбленный, в Густль Ренгер, – стал безудержно увлекаться всем еврейским.

Моему еврейскому увлечению значительно содействовала дружба с двоюродным братом Йиржиком. Он был на два года моложе меня, но наша дружба была самой крепкой, как равного с равным. С ним вместе мы посещали сиротский приют, он, как и я, очень любил бабушку, вместе с ним мы играли. Он обладал буйной фантазией и влечением к мистике, выдумывал самые причудливые сказки, истории, похождения с привидениями. С ним вместе мы перед девочками «колдовали», то есть проделывали всякие фокусы, которым мы научились из разных брошюрок, гадали, составляли гороскопы, отгадывали мысли и т. д. В то время мы зачитывались всяким вздором о белой и черной магии, но также о гипнотизме и самовнушении.

Одно время мы пробовали поставить опыты по телепатии. В большом саду сиротского приюта на расстоянии каких-нибудь пятидесяти метров мы с Йиржиком садились спиной друг к другу, к садовым столикам, предварительно условившись, что один станет писать простые знаки: либо цифры от 0 до 9, либо простейшие геометрические фигуры, вроде креста,

квадрата, треугольника, круга, либо цвета цветными карандашами, либо даже какую-нибудь букву, и что он, после каждой отдельной записи, подаст знак ударом карандаша о столик. А другой должен отгадать, записывая в том же порядке знаки. Эксперименты вначале удавались довольно плохо, но чем чаще мы стали ими заниматься, тем становились точнее, причем безразлично, кто из нас обоих отгадывал. Они кончались всякий раз сильным утомлением, и даже головной болью отгадывающего. Устраивались они нами без свидетелей, в полной послеобеденной тишине этого тенистого сада. Йиржик объяснял их, конечно, магической силой мысли. Для меня же они оставались – и остаются до сих пор – необъясненными. Во всяком случае, я как-то не так давно публично выступил против тех, кто заушательски хотел запретить опыты по телепатии, по обнаружению возможного, пока неизвестного излучения, вызываемого, быть может, биотоками мозга, излучения, которое, без всякой мистики, вполне материалистически, могло бы передавать мысли на расстояние. Единственным веским доводом против возможности существования человеческого мозга, обладающего столь сильной способностью передавать, получать и преобразовывать подобное излучение (если оно вообще существует), мне кажется, вытекает из теории Дарвина: люди, обладающие подобным свойством, были бы несравненно лучше, чем прочие, приспособлены к жизни, а поэтому, с течением времени, это свойство должно бы перестать быть редчайшим – но этого ведь нет в действительности.

Вскоре после моей упомянутой сцены с отцом, мы с Йиржиком стали изучать древнееврейский язык – иврит. У Йиржика в этом отношении были большие преимущества, так как он уже знал кое-что из уроков религии, умел хорошо читать и знал много слов, но читал он с ашкеназским произношением, на котором происходили религиозные службы в Чехии и во всей восточной, средней и западной Европе. Мы сели за учебники и продвигались быстро вперед. Учились мы по учебнику для студентов теологического католического факультета университета, с сефардийским, «академическим», очень благозвучным произношением, теперь официально принятым в Израиле. Оно нам очень нравилось, так же как и большая стройность грамматики этого древнего языка. Манила и таинственность – мы станем меж собой разговаривать, а понимать нас никто не сможет. А я просто считал своим долгом знать язык своего наиугнетеннейшего народа.

То, что мы изучали древнееврейский, мы старались сохранить в тайне. Но, конечно, об этом скоро узнали домашние. Наша семья к тому времени, как я перешел в пятый класс, вернулась из Чешской Каменицы в Прагу, куда отца перевели с новым повышением по службе. Пришлось выслушивать немало насмешек и брани по этому поводу: «К чему тебе это, ты что, раввином хочешь заделаться, или ксендзом, или уехать в Палестину?», говорил отец. Я увертывался, отшучивался, но все это лишь усиливало во мне дух противоречия. Споры между мной и отцом становились все чаще и все острее. Самым спорным вопросом был вопрос чисто теоретический: являются ли евреи нацией или нет? Ассимилянты и их сторонники утверждали, что раз у евреев нет своего единого языка и территории, государства, то они не нация.

Среди самих националистов имелось множество оттенков, начиная с религиозных сионистов «мизрахим», и кончая социалистическими «поалейцион». Вообще же политическая сторона вопроса оставалась для меня скрытой. «Еврейское государство» («der Judenstaat»), это основное сочинение основателя сионизма, младогегельянца Теодора Герцля, произвело на меня меньшее впечатление, чем его же небольшой рассказ «Менора». А еще сильнее действовали стихи Морриса Розенфельда, этого певца американского еврейского гетто, стихи не только националистические, но и социальные, если не сказать социалистические. Их я прочитал впервые не в оригинале на идиш, а в чешском переводе Ярослава Врхлицкого.

В древнееврейском вскоре – через год-два – у меня оказались недурные успехи. Этот язык давался мне удивительно легко, и я вскоре стал первым на курсах усовершенствова-

ния при студенческой сионистской организации «Бар-Кохба», куда записался. Понемногу я начал читать тексты без знаков для гласных, которые в иврите, как и в арабском, как правило, опускаются, газеты и журналы, выходившие на иврите в России, и, наконец, сам преподавать иврит начинающим. Имелись друзья, с которыми я довольно бегло разговаривал по-древнееврейски. Все это было в то время, когда я кончал среднюю школу, в мои семнадцать лет.

Студенческая организация «Бар-Кохба», названная так по имени вождя иудейского восстания против римского владычества, устраивала различные культурные мероприятия, из которых мне особенно помнятся концерты еврейской музыки, певца Голанина, чтение стихов, доклады писателя-философа Мартина Бубера. Душой всего был Гуго Бергман, библиотекарь Пражского немецкого университета, впоследствии израильский академик, философ-идеалист. Книгу Бубера «Три речи о еврействе» я перевел тогда с немецкого на чешский, она была издана и перевод получил высокую оценку чешского прогрессивного критика Франтишека Ксавера Шальды, также как мой чешский перевод избранных стихотворений древнееврейских поэтов средневековья. В журнале Шальды я позже опубликовал и небольшое количество своих собственных лирических стихов.

К этому же времени относятся, хотя и по существу не укладываются сюда как-то, попытки моей матери сделать из меня, этого чудака, «светского человека». После ряда сцен и скандалов, мама принудила меня надеть сорочку с накрахмаленной манишкой и такими же манжетами и стоячим твердым воротничком, режущим горло. Мне сшили черный смокинг, и повели на уроки танцев. Я пошел, чувствуя себя отвратительно, хуже, чем скотинка, которую ведут на бойню. Самое страшное в моем воображении было то, что танцевать придется с барышнями, которые представлялись мне совершенно непохожими на тех простеньких девочек-сироток, которых я знал. О чем это я стану с ними говорить? Мне представлялось, что все они невероятно тупые, ограниченные и вздорные существа, которые только и знают, что вертеться перед зеркалом, наряжаться, флиртовать, а о другом, кроме как о погоде, разговаривать не умеют. Я решил, что приглашу танцевать самую некрасивую девушку, так как если вероятность встретить красивую равна, скажем, 1/10, и вероятность того, что она будет умной также 1/10, то вероятность того, что она будет как красивой, так и умной окажется всего 1/100. Вот как я «практически» применил в своих расчетах теорию вероятности, с которой по книжке из сборничков библиотеки Гешёна я тогда познакомился.

Против всякого ожидания, первые начала танцевального искусства оказались уж чересчур простыми. Во всяком случае, менее трудными, чем уроки гимнастики, которые – по сокольской системе – преподавали нам в нашей «реалке», с разным там лазаньем по лестницам, прыганьем через козлы, упражнением на брусьях и т. п. В большом зале «Мещанской беседы», где происходили танцевальные курсы, по одну его сторону стояли «дамы» – девушки в длинных белых платьях, а по другую – мы, «кавалеры». Позади «дам», около стены, сидели их мамаши, или тетушки, «гардедамы», на галерее разместилось несколько музыкантов. Учитель танцев, молодой человек во фраке, извивавшийся, как будто он каучуковый, заставлял нас постоянно повторять одно и то же: надо было выходить на середину зала по одному – сначала «кавалеру», потом «даме» – и здесь каждый, под звуки музыки повторял несколько простых «па» польки, потом расшаркивался, и снова возвращался на свое место. Трудно было себе представить нечто более дурацкое и комичное.

После перерыва учитель танцев объяснил, что теперь каждый «кавалер» должен – и как именно – пригласить какую-нибудь «даму» танцевать с ним, и что будем танцевать польку. Я, как решил, так и сделал.

Заранее пригляделся к стоявшим напротив девицам, и пригласил ту, которая показалась мне самой большой дурнушкой. Протанцевали мы благополучно, что значит, что я ни разу не наступил ей на ногу, ни даже на ее длинное платье, и что наша пара не получила никакого замечания учителя, шмыгавшего тут же, среди танцующих.

Но самое худшее испытание еще предстояло. После того, как стихла музыка, нельзя было просто отвести свою «даму» на ее место к мамаше, а – согласно инструкции, преподанной нам учителем – прогуляться с ней раз или два по залу, вести «светскую» беседу. Спрашиваю: «Вы любите оперу?», и получаю ответ: «Да». Но и на вопрос: «Кого вы предпочитаете, Сметану или Дворжака?», следует нечто неопределенное, но односложное, не то «да», не то «нет». Так моя «дама» или вовсе молчала, или отвечала этими «да» и «нет». Это, и еще больше то, что меня так бессовестно подвела теория вероятности, взбесило меня, я прервал прогулку и со словами: «О, вы, барышня, видно очень набожны! Руководитесь словами евангелия: да, да, нет, нет, да буде слово твое, и что больше есть, то от дьявола» вручил ее с поклоном ее мамаше. А сам – покинул зал, твердо решив никогда больше не танцевать. У Ницше я прочитал, что если смотреть на танцующих, не слыша при этом музыку, то справедливо сочтешь их помешанными, и с этим я согласился. Танцы, как и балет, я, увы, не понимаю. Маму я огорчил, И мой смокинг стал добычей моли.

Я стал на некоторое время женоненавистником. Это была присущая в переходном возрасте многим подросткам отчужденность, стимулируемая, вдобавок, раздельным обучением в школе. Я стал называть девушек презрительно «гусынями». И в то же время в моем воображении «женщина» как таковая была высшим существом, как это описывалось в романах рыцарских времен. И когда один из моих приятелей, Норберт Адлер, сын сахарозаводчика, как-то изложил мне свои цинические взгляды на отношение к женщине, я, в ответ, тут же порвал с ним, приняв все это мальчишеское хвастовство всерьез.

В то время я уже начал зарабатывать, давая за плату уроки на дому по математике нескольким плохо успевающим или же готовящимся к «матурите» – выпускным экзаменам – ученикам средней школы, сыновьям зажиточных родителей. Заниматься с лентяями, а главное с тупицами, было неприятно. Но уроки эти неплохо оплачивались. Для меня, больше, чем эта реально-материальная сторона, было важно моральное сознание того, что я стал самостоятельным. Конечно, это в значительной степени была фикция, ведь я жил по-прежнему у родителей, пользовался их кровом и столом, но все же настоял на том, что вносил в домашний бюджет свою скромную лепту. И все это из-за разногласий с отцом по национальному вопросу! Раз мы столь резко расходимся во взглядах, то я не желал чувствовать себя зависимым от него.

Тянет в дальние страны

В то время в последних классах средней школы у меня было много друзей. Но я остановлюсь здесь лишь на дружбе с Крупским, так как именно она была прочна и своеобразна. Этот долговязый, чуть заикавшийся ученик, был, так сказать, издателем, шеф-редактором и чуть ли не единственным автором всех статей издававшегося – разумеется, без ведома начальства – рукописного классного журнала, выходившего в трех классах, причем весьма регулярно, раз в месяц. Название его было оригинально, он назывался «Без названия». Журнал был публицистическо-художественный, с явным уклоном к сатире, к остроумию, которым славился Крупски. По понятным причинам, все авторы выступали в журнале под псевдонимами (а у самого Крупского их было множество), но желающих принимать в нем участие было тем не менее сравнительно немного. Боялись тяжелых последствий в случае провала.

Но за все три года провала не было, не нашелся ни один доносчик. Впрочем, я теперь думаю, что классный руководитель Апльт знал о существовании журнала, но закрывал на это глаза. Возможно, что знал кое-кто другой из профессоров, но не хотел поднимать шума, так как это каким-то образом ударило бы и по самим учителям. Крупски предъявлял большие требования к статьям, далеко не все «печатал», что ему предлагали. В каждом номере была своего рода «политическая» передовая, поднимавшая события в классе чуть ли не до международного уровня, были заметки, посвященные отдельным «личностям» – преподавателям и ученикам – и отдельно проблемам по предметам. Но был и чисто литературный отдел: стихи, рассказы, и даже «кровавый» роман в продолжениях – пародия на печатавшиеся в ежедневных бульварных газетах романы. Были и переводы классиков. Авторами их были мы двое, Крупски и я, попросту сочинявшие эти поддельные «переводы», стараясь на полном серьезе подражать стилю того или иного западного – Золя, Диккенса, Толстого – или восточного – китайского, арабского, – автора. Вообще же я постепенно стал вроде как бы помощником Крупского, а под конец мы вели наш журнал вдвоем.

Техника занимала немало времени, ведь мы писали его от руки печатными буквами, снабжали иллюстрациями, даже цветными, преимущественно карикатурами, затем переплетали. И все это делалось в строжайшей тайне от домашних. Журнал ходил по рукам, а потом возвращался к Крупскому, который хранил все номера где-то в тайнике. Опасаться было чего. В «передовицах» и других статьях нет-нет да и попадались выпады против Австрии и самого Франца-Иосифа. Когда мы после сдачи выпускных экзаменов устроили скромную вечеринку с участием нескольких любимых профессоров, то храбрый Крупски притащил на нее все номера журнала – чуть ли не 30 толстых тетрадок – и мы на выбор читали из них под общий хохот. Больше всего смеялись после того, как осушили рюмочку-другую вина господа профессора. Крупски не пошел учиться дальше в высшую школу, а поступил служащим в какую-то частную фирму. В первую мировую войну его убили, Вообще же, когда в 1960 году состоялось традиционное собрание абитуриентов 1910 года, то нас оказалось немного. Многие погибли на фронте в войне 1914–1918 гг., некоторые в фашистских лагерях, а иные просто умерли от болезней и преждевременной старости. Грустное это было собрание, явно показавшее, какая тяжелая доля выпала нашему поколению, и не в первый раз я удивляюсь теперь тому, как же это мне, пережившему три войны, плен и три тюрьмы, удалось выжить.

Заканчивая воспоминания об этом «средне-школьном» периоде, я должен упомянуть еще о некоторых более или менее ярких эпизодах, скрасивших это, в общем спокойное, но довольно однообразное, скучное течение жизни.

Так вот, я мечтал о путешествиях в чужие, особенно в дальние экзотические страны. Старался не пропускать ни одной из публичных лекций путешественника Браза, этого чеш-

ского Левингстона, исходившего пешком многие районы экваториальной Африки и Южной Америки. Он сопровождал свои лекции показом проекций, им же раскрашенных фотографий. И мне, наконец, выпало такое счастье. Пять настоящих путешествий – правда, не на Таити, о чем я больше всего мечтал, но все же! До них, кроме описанных уже прогулок с отцом, я побывал только на народных храмовых праздниках, однако утерявших первоначальный религиозный характер.

В Крушных горах мне довелось увидеть осенний праздник общества стрелков («Schutzenverrein»), военизированного общества немцев, одетых в зеленые мундиры, которое имело свои организации во всех селениях Судетов. На горной поляне, возле бойко торговавшего ресторанчика, воздвигли шест высотой в рослую сосну, на вершине которого было прикреплено яблоко, и оттуда же свисали длинные черные, белые и красные ленты – пангерманские цвета. Состоялось состязание в стрельбе из средневековых самострелов – стрелой надо было сбить яблоко. Поодаль горел громадный костер и над ним на вертеле жарилась целая туша вола. Праздник так и назывался «Ochsenbraten am Spieβ» («Воловье жаркое на вертеле»). А под конец, когда уже спустилась ночь, и все как следует наелись и напились пива и шнапса, началось факельное шествие, вокруг костра дико плясали и орали воинственные, кровожадные, шовинистические песни. Этим они не в первый и не в последний раз опровергли изречение Шиллера: «Где поют, там радостно поселись. У злых людей песен нет». Все это должно было изображать языческие празднества древних тевтонцев. Из этих стрелков и подобных им организаций, которые масариковско-бенешевская Чехословакия либерально терпела, позднее рекрутировались наиболее активные гейнлейновцы, эсэсовские головорезы.

Но вот теперь я еду в другую страну – в Германию, в столицу Саксонии Дрезден. Взяла меня с собой бабушка Иоганна, отправившаяся туда навестить свою болевшую сестру, как и она сама, вдову, проживавшую там с двумя уже немолодыми дочерьми. Это было летом, и мы поехали туда колесным пароходом, сначала по Влтаве, а затем по Лабе (Эльбе), а обратно вернулись поездом. Для поездки в Германию, а также в Италию – в страны-союзницы – не требовалось никаких паспортов и никаких формальностей вообще. Все это, не в пример порядкам в странах так называемого социалистического содружества, где на 56 году революции, спустя 27 лет после окончания Второй мировой войны, советский гражданин для того, чтобы посетить родственника, проживающего в другой «социалистической» стране, должен сперва получить от него официально заверенное приглашение, обзавестись характеристикой, – если он партийный, от партбюро своей низовой организации, – пройти затем через специальную выездную комиссию райкома партии, а потом еще ждать, пропустит или не пропустит его ОВИР – номинально орган милиции, на деле же Комитета Госбезопасности. И все это длится не менее 3 месяцев, не говоря уже о том, что за эту свою нервотрепку надо уплатить 40 рублей. В таком же положении находятся и советские граждане, временно работающие в Чехословакии, Польше, ГДР и т. д., все они, если хотят навестить своих родственников в СССР, должны пройти через эту унижающую человеческое достоинство жандармскую процедуру. А в Австро-Венгерской монархии получить заграничный паспорт было сущим пустяком для поездки в любую страну мира, стоило 5 крон и длилось не больше суток (полиция выясняла, не числится ли за желающим уехать уголовное дело, или не подлежит ли он призыву).

Но вот, мы ехали в Дрезден. Запомнилось общее впечатление от красот этой поездки, зеленых берегов Эльбы, живописных селений и замков на скалах Чешско-Саксонской Швейцарии. Проезжая Шандау, летнюю резиденцию саксонского короля (тогда в Германии, кроме кайзера Вильгельма Второго, в каждой отдельной провинции сохранились еще короли и князья, со своими, наряженными в старинные мундиры, гвардиями), мы с парохода хорошо видели как на берегу происходил какой-то праздник, с военным оркестром, – мне запомнился

дирижер, размахивавший вместо палочки длиннющим шестом, с нанизанными на него колокольчиками. От самого города Дрездена осталось у меня впечатление бело-зеленого цвета, подстать саксонскому знамени: белые здания с зелеными крышами. Конечно, мы побывали в Цвингере, смотрели Сикстинскую мадонну, но мне было тогда лет тринадцать, и я не мог, понятно, ничего этого как следует оценить. Вторично я побывал в Дрездене лишь после того, как он был варварски разрушен американской авиацией.

Запомнился еще такой случай. Как-то Прагу посетил черногорский князь Никита. Он разъезжал по городу в открытом фаэтоне в национальном костюме, в расшитом золотом жилете, встречаемый бурными овациями пражан. Симпатии чехов к югославам, а в особенности к черногорцам, к этому немногочисленному храброму народу, отстаивавшему в своих горах самостоятельность, были давнишними. Мне повезло, я видел проезжавшего по Вацлавской площади князя. И вот однажды я, вернувшись домой из школы, рассказал с массой деталей, будто князь Никита посетил нашу школу, побывал у нас в классе, как раз, когда меня вызвали на уроке родного языка, и я продекламировал в его честь стихи. Конечно, мое вранье вскоре обнаружилось, и меня чувствительно наказали. «Вот тебе, запомни на всю жизнь, надо всегда говорить правду и только правду, приговаривал отец, шлепая меня. Не знаю, возможно, что я с тех пор запомнил это, но говорить правду оказалось не легким делом. Во-первых, проклятый вопрос Понтия Пилата: «Что такое правда?», пока еще, при моей жизни, не решен. Сколько раз я искренне принимал за правду то, что было на деле самой настоящей ложью. Во-вторых, не столько за вранье, сколько именно за правду бьют, причем не любя, а нещадно, часто до смерти. И в-третьих, не горькая правда, а сладкая ложь доставляет нам утешение, наслаждение.

Когда я окончил «реалку», а окончил я ее с отличием, отец взял меня в виде награды с собой в Триест (тогда австрийский морской порт), куда он ездил в служебную командировку. Там я впервые в жизни увидел море – голубое, Адриатическое! Как сегодня, вижу все это. Поезд спускается с холмов, раннее утро, мы только что проснулись. Я не отхожу от окошка, прилип к нему, хочу первый увидеть море. И вдруг внезапно исчезает линия горизонта, – это голубой небосвод сливается с таким же голубым морем. От удивления, радости, восторга, я вскрикиваю: «Море, море, посмотрите, море!», точно так, как те древние греческие воины, прокричавшие «Талата, талата!», когда они после изнурительного похода наконец добрались до его берегов.

В Триесте я запомнил, пожалуй, только именно море и набережную с молами, со звучными названиями «Санто Карло», «Де ля санита», многочисленными судами, пеструю гомонящую толпу, по преимуществу итальянского населения (в окрестностях города проживали словенцы), и еще небольшой канал с рыбацкими лодками, с фруктовым и рыбным базаром на его берегах. Мы пробыли в Триесте дня четыре. Посетили мраморный белый замок Мирамаре, бывший прежде летней резиденцией императрицы. Ездили пароходом на курортный остров Градо, всего какой-нибудь час или два езды, но ведь это была моя первая поездка по морю. Было это в воскресный день, народ ехал отдыхать, веселый, с гитарами, всю дорогу не затихали песни, танцы на палубе, и, конечно, были и большие бутыли вина в плетенках.

После поездки в Триест, за год до смерти отца, – я был уже студентом второго курса, – состоялось наше путешествие в Берлин, куда отец ездил также в командировку. Берлин был первым большим городом, который я увидел. По сравнению с ним, наша Прага была жалкой провинцией. Берлин производил впечатление настоящего «каменного мешка». Какая подавляющая человека монументальность всех этих напыщенных дворцов, колоссальных размеров памятников всяким курфюрстам, военачальникам в «Аллее победы», Бранденбургские ворота, церкви, музеи – все рассчитано на то, чтобы поразить размером покрупнее, помассивнее. Ужасающая безвкусица! Но какое движение автомашин на улицах! И сколько повсюду военных и полицейских в касках – шуцманов и ненавистных надменных морд прус-

саков и пруссачек! И на каком резком, неблагозвучном берлинском наречии немецкого языка они говорят! И какая невкусная, по сравнению с чешской, эта их еда! Все это вместе взятое удручало меня. Конечно, музеи были чудесные, в них были собраны многие сокровища древнего, восточного, а также и современного искусства, свезены сюда правдой и неправдой, куплено за бесценок или просто награблено, затем классифицировано и хранимо с немецкой педантичностью. И мы с отцом, валясь с ног от усталости, носились по музеям, да вообще старались за короткий срок пребывания в городе не пропустить ни одной достопримечательности.

Побывали мы и в красивых окрестностях Берлина, в прекрасных кварталах богачей, на полянах, поросших розовым и белым вереском, в чистеньких поселках Бранденбурга, названия которых свидетельствуют о том, что когда-то всю эту местность заселяли выгубленные затем славяне, а также на озере Ванзее. Не предчувствовал я тогда, при каких обстоятельствах мне придется в следующий раз побывать в Берлине и вообще в Германии.

Другие два путешествия я совершил самостоятельно, без опеки родных, одно втроем, с двумя друзьями – Трнобранским и Макариусом. Оно было настоящим пешеходно-туристским. Долго мы выбирали, куда направиться, как легендарный Буриданов осел не мог выбрать между двумя охапками сена, так и мы не знали, чему дать предпочтение: Татрам или Альпам. Наконец, мы остановились на Альпах, на Тироле, из-за льготного железнодорожного проезда, густой сети дешевых туристских ночлежек, и не в последнюю очередь из-за того, что здесь нам не придется иметь дело с незнакомым мадьярским языком (Татры ведь в Словакии, тогда входящей в Венгрию), и в особенности с венгерскими жандармами, которые преследовали чешских туристов.

Поездом мы доехали до Зальцбурга. И примерно после недельного пути добрались до городка Бергель, стоящего на середине пути к нашей цели – столице Тироля – Иннсбруку.

Но тут мы обнаружили постигшую нас катастрофу: у нашего казначея Макариуса, самого аккуратного и расчетливого из нашей тройки, пропал бумажник, в котором хранилась основная часть наших финансов. Не то он как-то выронил его, не то его у нас вытащили из рюкзака в одной из ночлежек. Мы побранили Макариуса, горевавшего больше нас всех, но что же делать, как нам быть дальше? Конечно, было несколько выходов из этого пикового положения. Дать телеграммы домой, попросить перевести нам по телеграфу деньги. Но это мы единодушно отвергли, стыдно было за наше ротозейство. Мы могли бы продать имеющиеся при нас ценности – часы, колечки – но все они были даренные (у меня было недорогое, но необыкновенного вида кольцо с печаткой, бабушкин подарок), никому не хотелось расставаться с ними, да и выручили бы мы не очень много. А кто-то из нас предложил, чтобы мы стали просто побираться – петь и рисовать картинки – портреты крестьян, а главное крестьянок и их детей, для чего сначала надо купить бумагу и акварельные краски, а плату будем получать натурой, питанием и ночлегом. Но в результате состоявшегося совета, все эти предложения были отвергнуты. Мы решили бесславно прекратить наш поход и вернуться поездом в Прагу, самым дешевым, четвертым классом, на что у нас в обрез, как мы подсчитали, но все же хватило денег. Так мы до Тироля и не добрались.

И еще одно путешествие довоенного времени, на этот раз в Вену, в столицу Австрии. Собственно говоря, я осуществил его уже будучи студентом после смерти отца, но упомяну его здесь. В Вене тогда состоялся одиннадцатый Всемирный сионистский конгресс, и железные дороги предоставили возможность удешевленного проезда туда и обратно, что они охотно делали для безразлично каких более или менее крупных сборов. Хотя я и не был членом сионистской политической организации, и тем более, разумеется, делегатом или гостем конгресса, но, как я уже об этом писал, был связан со студенческим сионистским обществом «Бар-Кохба». Через это общество я приобрел билеты со скидкой и поехал в Вену, где пробыл неделю, пока длился конгресс. О его ходе я знал только из рассказов его гостей и участников,

студентов, с которыми жил в каком-то общежитии. И еще по венским газетам, некоторые из которых вели травлю не только сионистов, но всех евреев. Ведь венским бургомистром был тогда Луэгр, воинствующий антисемит. Выбрали себе сионисты подходящее место для конгресса! Заправилами на нем были крупные капиталисты во главе с Хаимом Вейцманом, известным ученым-химиком, ставшим позднее первым президентом государства Израиль.

Он ориентировал сионистское движение на то, чтобы оно искало опору в британском империализме, заинтересованном в том, чтобы удержать свои позиции в Палестине. Для этого сионисты, начиная с самого своего учредительного Базельского конгресса в 1897 году, руководимые основателем сионизма Герцелем, держали курс на Турцию, на «кровавого султана» Абдул-Хамида. А теперь, после Второй мировой войны, израильские руководители опираются на США. Но на венском конгрессе была и многочисленная левая, социалистическая оппозиция, происходили жаркие дискуссии. До всей этой политики мне тогда не было никакого дела, и я не разбирался в ней. Политику, в частности и в особенности международную, дипломатию, я отождествлял с политиканством, этим корыстным и коварным злоупотреблением общественными делами в низменных, эгоистических личных и групповых, кастовых интересах. К сожалению, в чересчур многих случаях, это недалеко от истины.

Пора, непосредственно предшествующая Первой мировой войне, ощущалась нами, жителями Центральной и Западной Европы, как подлинно мирная, спокойная, тихая, чтобы не сказать скучная, довольно скупая на волнующие умы события. Кто же мог подозревать тогда, что все без исключения генеральные штабы давно уже разработали планы кровавой бойни, имевшей все шансы превратиться в мировую? Конечно, и по Австро-Венгрии прокатились отголоски русской революции 1905 года – рабочими демонстрациями, всеобщей забастовкой, возглавлявшейся социал-демократами борьбой за всеобщее равное и тайное право выборов в парламент. Случались и разного рода «инциденты» – небольшие, локализованные конфликты из-за захватнических действий той или иной империалистической державы, не прекращалась борьба между одиннадцатью национальностями, находившимися под властью Габсбургов.

Бывали, разумеется, события, которые раскрашивали эти будни. Мне запомнились два из моих школьных лет. Одно – это было посещение Праги императором. К Францу Иосифу, этому преклонного возраста монарху, у чешского обывателя было двойственное отношение. С одной стороны его ненавидели как олицетворение проводимой правительством германизации и грубого подавления гражданских прав и свобод, а с другой стороны, над ним добродушно посмеивались, подтрунивали, – в ходу была масса анекдотов, за распространение которых полагались «строгие» наказания («оскорбление величества» считалось одним из тягчайших государственных преступлений). А добрые души жалели его: супругу его, якобы гуманнейшую женщину, убили; сын – наследник принц Рудольф будто бы влюбился в какую-то актрису и решил стать рядовым гражданином; брата императора Максимилиана расстреляли в Мексике; эрцгерцог Франц Фердинанд д'Эсте, о характере и политических установках которого ходили самые противоположные слухи, став наследником, интриговал против Франца Иосифа.

Значительная часть чешской общественности и, прежде всего, буржуазии, связывала с визитом императора большие надежды. Это были сторонники австрофильской политики, видного чешского историка XIX века Палацкого, считавшего, что чехи, как малочисленный народ, смогут сохранить свою самостоятельность, да и вообще отстоять свое существование перед напором Германии, только в недрах Австро-Венгрии. Это была политика «меньшего зла», которая, как это показывают многочисленные исторические факты, почти никогда не кончается добром ни для целых народов или партий, ни для отдельных лиц, придерживающихся ее.

Прага шумно готовилась к торжествам. Было построено несколько пышных с виду, на деле же фанерных триумфальных ворот, дома были свежеокрашены, на их балконах выставлены цветы, город был расцвечен флагами – австрийскими черно-желтыми и чешскими красно-белыми – их, по приказу полиции, были обязаны выставить домовладельцы. И вот, наконец, наступил давно ожидаемый момент. Нас, школьников всех начальных и средних учебных заведений, мальчиков и девочек, в том числе и самых маленьких, погнали в обязательном порядке на встречу его величества, выставили с флажками шпалерами на пути, по которому должен был проследовать с вокзала в пражский кремль «Градчаны» торжественный кортеж. Мы стоим час, два, три на жаре, хочется пить, некоторые малыши не выдерживают, просятся по малой нужде, но их никуда не пускают, – им пришлось встречать «любимого монарха» в не вполне достойном, так сказать, подмоченном виде, – за нами стоит сплошная стена полицейских, солдат, и изображающих штатскую публику шпиков, а еще позади нее теснится толпа пражан, вытягивающих шеи, чтобы увидеть, не пропустить редкое зрелище.

Наконец издали докатилась к нам волна все нарастающего гула голосов: «Едут!» Появляется открытая коляска, запряженная четверкой белых лошадей, и в ней сидит, одетый в белый мундир, с красной лентой накрест на груди, весь в орденах, в треуголке с белыми страусовыми перьями, державшийся прямо старик, с застывшей ласковой улыбкой на лице, и машинально машет нам маленькой ручкой. А за ним также в открытых колясках или верхом на рысаках генералы в расшитых золотом мундирах, как и он в треуголках, но не с белым, а со светло-зеленым оперением, напоминающим зеленые петушиные перья на высоких шапках пражских полицейских, которых народ и прозвал «петухами». За генералами следует кавалерия – гусары, уланы, кирасиры, драгуны – в красочных мундирах, со сверкающими на солнце обнаженными саблями. Вся эта цветная картинка быстро промчалась мимо нас, мы даже не успели опомниться, как от нее остались лишь столбы пыли. И мы, усталые до изнеможения, еле волоча ноги, плетемся обратно. Любовь к Францу Иосифу от всего этого у нас, надо полагать, не увеличилась. Любопытно было бы узнать, что думают и чувствуют – по-социалистически – московские школьники, пионеры и комсомольцы, когда их, подобно нам тогда, выгоняют простаивать часами с флажками на Ленинском проспекте, чтобы встречать, на их пути с Внуковского аэродрома, «в отведенную им резиденцию», августейших особ.

Вся эта наша «встреча» была для меня, можно сказать, небольшой репетицией тех парадов, в которых мне пришлось принимать участие за время моей военной службы в австро-венгерской армии.

И еще одна, возникающая попутно мысль. В 1912 году скончался прославленный чешский поэт Ярослав Врхлицкий. Его похороны вылились в подлинно стихийную демонстрацию национального единения и преклонения перед талантом писателя. В них участвовала вся молодежь – мы, студенты, школьники, рабочие (фабрики и заводы на два часа прекратили работу) – и все это без каких бы то ни было указаний «сверху». Прибыли делегации – за свой собственный счет – из самых дальних уголков страны. Весь город был в трауре, везде висели черные знамена, люди прикрепили к одежде черный креп, и хотя похороны происходили днем, горели уличные фонари (таков обычай при похоронах выдающихся личностей), движение транспорта повсюду прекратилось, все разговаривали шепотом, царила гробовая тишина. И без всяких полицейских, державшихся в стороне, соблюдался образцовый порядок, нигде не было никакой давки. Вот что значит сознательная добровольность и дисциплина – настоящая, свободная, в отличие от командной, принудительно «добровольной», навязанной человеку под страхом неприятностей, которые последуют для него от властей в случае ослушания.

Последним событием, о котором я здесь расскажу, прежде чем перейти к своим студенческим годам, была большая выставка, состоявшаяся в Праге в 1910 году. На территории,

где ныне расположен Парк культуры и отдыха имени Фучика, были сооружены выставочные здания, в том числе и большой павильон, в котором сейчас устраивают городские партийные активы и другие большие собрания. Выставка была промышленная и сельскохозяйственная, но были показаны и образцы достижений чешской науки и культуры, а также и история чешского народа, и быт отдельных краев Чехии. Здесь выстроили несколько деревень с типичными для них хатами, в которых можно было увидеть внутреннее убранство и фигуры крестьян в национальных костюмах. Но были и сверхсовременные экспонаты – действующие модели дирижаблей и летательных аппаратов, из которых мне запомнились машущие крыльями ортоптеры и подобие «летающих тарелок», пугающих теперь воображение. Помнится также, что вход на выставку происходил через турникет, автоматически подсчитывающий количество посетителей (каждый десятитысячный премировался) – это был, пожалуй, первый автомат (если не считать часов), с которым мне пришлось встретиться. Однако устроители выставки позаботились и об отдыхе и развлечениях. И самым большим аттракционом были, конечно, ашанти.

Тогда цирк, не то германский Гагснбек, не то американский Барнум – показывал в разных европейских столицах привезенные либо из Африки негритянские, либо из Америки индейские племена. Ашанти – народ, населяющий Золотой берег Западной Африки, достигший в свое время сравнительно высокой культуры, но жестоко угнетавшийся английскими колонизаторами. На выставку их привезли с сотню. Они здесь построили свой настоящий «крааль» – африканское селение, окруженное забором, с остроконечными конусообразными хижинами, и с сараями для мелкого скота. Черные, как смола, курчавые, как барашки, небольшого роста, ходили они полунагие, женщины с большими обвисшими грудями, дети совсем голые. Все были обвешаны ракушками и украшены пестрыми перьями, громадными серьгами (какие теперь в моде) и браслетами на руках и ногах, иные с кольцами, вдетыми в ноздри и губы (такой моды пока еще, кажется, нет). Не обращая внимания на нас, зевак, наблюдавших за ними, – за приличную входную плату, – они жили здесь, в самом центре Европы, своей африканской жизнью. Стряпали на кострах какую-то свою еду, отправляли свои религиозные обряды, пели свои песни, устраивали под оглушительную, уши раздирающую, дикую нам музыку, свои еще более дикие, воинствующие пляски.

Мы побывали на выставке всей семьей и я, конечно, смотрел на это зрелище с любопытством, но – так же как и отец – с недоумением, с состраданием к этим бедным «дикарям», которые ведь такие же люди, как и мы, но вынуждены показывать себя, словно обезьяны в зоопарке, и даже не понимают, как это унизительно, не испытывая, по-видимому, презрения к потешавшейся над ними мещанской публике, и ненависть к сделавшим из них для себя коммерцию, хозяевам цирка. Под этим впечатлением я вскоре написал что-то вроде короткого эссе в белых стихах о мнимой цивилизации и подлинной культуре, и мне удалось поместить его в журнал Шальды. Так я, хотя и не побывал в Черной Африке, все-таки прикоснулся к ее быту. Говорили тогда, что некоторые ашанти, за короткое время пребывания в Праге, неплохо стали уже договариваться по-чешски. Это вполне возможно, так как ашанти способный народ, о чем свидетельствует их развитой фольклор. Но так или иначе, но память они после себя оставили. Как это отметили газеты, спустя год в Чехии народилось несколько черных детей.

Итак, школьные годы кончились, начинались годы студенческие. Однако предстояло еще выдержать выпускные экзамены, а значит пережить связанные с ними тревожные дни. На выпускные экзамены была отведена целая неделя, но на деле они проходили лишь в три дня, так как проводились через день. Экзаменовали в основном наши же профессора, но участвовала в экзаменах целая комиссия представителей министерства образования и высшей политехнической школы, куда эти экзамены давали право поступить. Первый экзамен был по родному языку. Мы явились в обязательных темных костюмах и накрахмален-

ных сорочках с манжетами, высоким, жестким стоячим воротничком, который был тогда в моде, и черным галстуком-бабочкой, уже с утра, еще до начала экзаменов, все вспотевшие – помнится, как на зло, в Праге стояла тогда непривычно жаркая погода. Нас рассадили на приличные дистанции друг от друга, а затем торжественно вскрыли запечатанный красным сургучом конверт, присланный из министерства, в котором содержались темы письменной работы. Их было три, и каждый мог себе выбрать одну любую. Мне запомнились названия двух из них: «О пользе и вреде воды для человека», «Намечай свои цели по своим силам, и соизмеряй свои силы по своим целям». Я остановился не на первой теме, хотя она естественнонаучная и техническая, казалась более легкой, а избрал вторую, философскую, кажется, афоризм Сенкевича, и написал сочинение, заполнившее довольно объемистую тетрадь, за три часа, положенных на экзамен.

После двухчасового обеденного перерыва, состоялись устные экзамены. Спрашивали по литературе, чешской и мировой, по теории словесности, но я отделался очень быстро, за каких-нибудь полчаса, и одну треть экзаменов, таким образом, имел уже за собой. Второй экзамен был по математике. Та же церемония с распечатыванием конверта, три варианта задач на выбор, и в каждом по три задачи – алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая. Я не стал выбирать, а решил все три варианта, причем сразу в чистовик, всего за три часа вместо положенных шести. Но тут должен сознаться в преступлении. Все три варианта я потом мелко переписал и, выйдя в туалет, спрятал их там в заранее условленном месте. И лишь тогда отправился домой.

После обеда был устный экзамен, но у меня члены комиссии, пошептавшись меж собой, спросили только, что я в последнее время читал по математике и сколькими способами могу доказать теорему Пифагора. Третий экзамен по физике был лишь устный. Спрашивали по разным ее разделам и довольно обстоятельно. Помнится, по какому-то вопросу, касавшемуся оптических линз, я нахально вступил в спор с одним из членов комиссии, и не будь вмешательства нашего профессора Апльта, мог себе сильно напортить. Но и тут все закончилось благополучно, и в конце недели я получил аттестат зрелости с отличными отметками по всем предметам, в том числе и по французскому языку, несмотря на то, что правил грамматики со всеми ее бесчисленными исключениями я так и не выучил наизусть. Такой аттестат давал не только право поступления в политехникум, но и на бесплатное в нем обучение, и даже на стипендию, если этого требовало имущественное положение родителей. Я простился со зданием «реалки», где провел целых семь лет, как мне казалось, навсегда. Но тут я ошибся. Мне пришлось сюда еще раз вернуться, при обстоятельствах не только пока непредвиденных, но и принципиально непредвидимых.

В двух высших школах

После вечеринки и каникул с путешествием в Триест, о чем я уже упомянул, я записался в высшую политехническую школу на факультет машиностроения и электротехники, как этого пожелал отец. Но и он пошел мне навстречу – разрешил стать параллельно вольнослушателем математического отделения философского факультета Карлова университета. Я должен был лишь дать слово, что эти мои побочные занятия не помешают основным в политехникуме.

В политехникуме посещение всех дисциплин было обязательным и контролировалось избираемыми самими студентами старостами. Между тем, в университете студенты сами выбирали себе лекции, которые им хотелось прослушать.

Некоторые профессора не находили нужным считаться с тем, насколько студенты подготовлены к тому, чтобы понимать их. Они – настоящие ученые-исследователи – из года в год продолжали разрабатывать свои проблемы и в своих лекциях просто докладывали о той стадии, которой в данное время их работа достигла. Известным подспорьем служили, правда, параллельно проходившие, руководимые доцентом-помощником профессора, семинары. Но при всем этом требовалась большая самостоятельная работа по изучению специальной литературы, которая университетской библиотекой не выдавалась на дом, ею можно было пользоваться лишь в читальном зале. Но именно таков был идеал университета – храма науки, лаборатории самостоятельного постижения знаний, совместного профессорами и студентами. И университеты сохранили в значительной степени свою автономию, свое самоуправление «академической общины», без вмешательства государства. Так, на их территории без разрешения университетского сената не смела появляться полиция, ректор и деканы факультетов не назначались, а избирались тайным голосованием самим профессорским коллективом, который распоряжался и средствами, получаемыми по государственному бюджету и т. д. Но все это было при монархии, а потом и в буржуазной республике, но при «социализме», понятно, отошло в область предания.

Основные мои занятия проходили в политехникуме, где порядки были, однако, совсем другие. Поступил я туда не без колебаний. Машины, которыми придется заниматься, не особенно привлекали меня, интерес могло представлять разве только лишь их проектирование. И тут еще действовало влияние профессора университета Рудольфа Дворжака, с которым отец находился в приятельских отношениях. Этот родственник известнейшего композитора Антонина Дворжака, основатель чешской ориенталистики, специалист по семитским языкам – древнееврейскому, арабскому и амхарскому (эфиопскому) издал поэтический перевод «Песни песней». Зная о моих успехах в иврите и попытках начать изучать и арабский, он настойчиво уговаривал меня стать египтологом, заняться семитско-хамитскими языками, поступить на филологическое отделение философского факультета. Возможно, только мысль о том, что мне придется тогда предварительно сдавать экзамен по латыни, а, следовательно, готовиться к нему все лето, отвадила меня от этого решения. Действовало и сопротивление отца. И я до сих пор так и не знаю, правильно ли я тогда поступил, послушавшись отца, а не его друга.

Влечение к языкам, особенно к сравнительной этимологии, у меня сильное. Я люблю в часы досуга заглядывать в словари, скажем, арабский и иврит, размышлять над тем, как получилось, что, например, некоторые части человеческого тела, как-то голова, глаза, уши, рот, ноги, мозг, легкие, кости, волосы и др. обозначаются в обоих языках одинаково (разве только с отличием произношения), между тем как другие, такие, как лицо, лоб, грудь, спина, сердце, желудок, почки, череп, борода и др. выражаются в этих языках совершенно различными словами, имеющими непохожие корни. Не может быть, чтобы в едином семитском

праязыке не существовало слова для таких понятий, как «лицо» или «сердце». Значит, когда семитское племя, первоначально единое, распалось на арабов и евреев, то по каким-то причинам, либо одни, либо другие, либо как те, так и другие потеряли эти слова и приобрели взамен новые, сами их создали, или где-то позаимствовали у другого племени.

Поступление в политехникум означало, прежде всего, что мне пришлось рано вставать. Занятия начинались с 7 часов утра, а здание политехникума находилось на Карловой площади, в получасе езды трамваем от нашего дома. Больше всего времени занимали не лекции, не лабораторные занятия, а черчение. Прямо-таки замучил нас профессор Живна, злющий, ехидный, низенького роста старичок, с рыжей козлиной бородкой, преподававший детали машин. Счета не было тем большим ватманам, которые мы вычерчивали, снабжали стандартными каллиграфическими надписями, и раскрашивали в условные цвета, соответственно материалу. Сколько часов мы прокоптели тогда над этим занятием, казавшимся мне довольно бессмысленным, бесцельным! Его польза – но для совсем неожиданной цели – открылась мне не раньше, чем через 12 лет.

На первых четырех семестрах преподавались главным образом общетеоретические предметы. Среди них математический анализ и начертательную и проективную геометрию я знал в значительно большем объеме, чем они читались здесь, а поэтому отсиживал по обязанности на этих лекциях, занимаясь при этом чем-нибудь другим. Очень нравились мне три курса, которые читал молодой профессор Фельбер – по механике твердого тела, гидравлике и термодинамике. Он излагал свой предмет необыкновенно изящно, стремясь, как я сейчас понимаю, максимально приблизиться к аксиоматическому методу. Нередко он вставлял в свои лекции различные философские (позитивистские), а то и прогрессивные, социально-политические сентенции. Мне пришлось сдавать ему три экзамена, из которых запомнился один, по механике: расчет движения шарика, катящегося без трения по винтовой поверхности – задача довольно трудная. Но Фельбер был хороший ученый, патриот и передовой мыслитель. Он был казнен нацистами в 1942 году.

Преподавание в политехникуме сопровождалось несколькими экскурсиями на заводы, как пражские, так и более дальние, например, в Кладно. Помнится тяжелое впечатление, которое произвел на меня литейный цех с его пышущим жаром, он показался мне Дантовским адом, и труд рабочих в нем – каторгой. После второго и четвертого семестров, в каникулы полагалась месячная практика, которую мы, будущие инженеры-электротехники, проводили на пражском заводе Кольбен, производившем динамомашины и электромоторы. Для этого пришлось приобрести и надеть синюю спецодежду, что оказалось единственным, чем мы сравнялись с рабочими. Дело в том, что наша практика получилась весьма своеобразной. Нас почти бегом инженер провел по цехам этого большого завода, а потом предоставил в распоряжение старика-мастера, который показал нам как наматывать – разумеется, вручную – обмотку на катушку. Вот этим и подобными подсобными занятиями мы, практиканты, все время, по восемь часов в сутки, и занимались, причем в отдельном помещении, не приходя в соприкосновение с рабочими, разве только при входе и выходе с завода, так как и обедали мы от них отдельно, в инженерной столовой.

Четвертый семестр заканчивался первым государственным экзаменом. Мы должны были рассчитать полную малогабаритную турбину, пригодную в условиях сельского хозяйства на небольших речках, по заданным исходным данным, и изготовить все необходимые чертежи. Пользовались мы при этом немецким инженерным справочником «Хютте». Мне нравилась эта работа, и я при расчетах применил номографию, которой тогда увлекался, так что моими номограммами могли воспользоваться и другие мои коллеги, хотя им, конечно, были заданы другие исходные. Профессор по фамилии Завишка отнесся к этому новшеству сначала неодобрительно, расценив его как «подсказывание» с моей стороны, но потом примирился с ним и даже похвально отметил меня. В общем, первый государственный экзамен

я сдал по всем предметам на «отлично». Это давало мне право перейти на последние два курса, где преподавались уже исключительно только специальные электротехнические дисциплины.

Но тут случилось событие, изменившее течение всей жизни нашей семьи – умер отец. Во время своего отпуска, летом 1912 года, он отправился с двумя друзьями в давно задуманный туристский поход в Альпы, в Тироль и Форарльберг. Здесь, в горах их застала гроза, и пока они добирались до хаты, отец сильно простыл. Домой он вернулся в тяжелом состоянии, его немедленно положили в городскую больницу, и здесь он через пару дней скончался от острого воспаления почек. Я запомнил это потемневшее, осунувшееся лицо, на котором лишь одни большие черные лучистые глаза остались прежние – таким я увидел отца в последний раз, когда он появился дома. В больницу, в палату к умирающему, пустили только маму. Я должен был остаться с братом и сестрой в коридоре. Там мы стояли втроем около окна, выходившего на унылый больничный двор, и плакали навзрыд, глядя на дождь, который лил за окном. Мама стала получать сравнительно высокую пенсию, к чему добавлялись ещё мои скромные гонорары за уроки, так что материальной нужды мы не терпели. Но все же мы должны были значительно ограничить свои потребности и, как я уже писал, сменили квартиру на более дешевую. Однако горе мамы и наше, детей, от утраты любимого человека, еще полного жизненных сил, было самое подлинное.

Теперь, когда не было отца, который настоял бы на том, чтобы я продолжал инженерное образование, я склонил мягкую мать к тому, что стану не инженером, а профессором математики. Распрощавшись с политехникумом, я окончательно превратился в студента философского факультета. В то же время и брат Рудольф, которому было тогда пятнадцать лет, после окончания с незавидными отметками четвертого класса гимназии, не захотел продолжать в ней учиться. После крупных сцен, он, еще более упрямый, чем я, настоял на своем желании самостоятельно зарабатывать, и поступил учеником-приказчиком в фирму «Шпиц и Мунк», торговцев мануфактурой. Это далеко не поэтическое занятие, однако, не помешало брату развивать дальше свои музыкальные способности и сочинять лирические стихи, которые, несмотря на столь юный возраст их автора, то и дело появлялись в печати. А сестра Марта, только еще окончившая к тому времени начальную школу (ей было 12 лет), поступила затем в художественно-промышленное училище, и стала специалистом по декоративному искусству, работала рисовальщицей новых узоров для текстильных тканей. Одновременно она училась музыке, пению и сделалась первоклассной оперной певицей. Но все это относится к тому времени, когда меня уже давно не было на родине.

Освободившись от политехникума, от трудоемкого черчения, я смог в университете почти всецело посвятить себя посещению лекций, участию в семинарах и библиотечному чтению научных книг и журналов. Я говорю «почти», так как часть моего рабочего времени уходила на два урока на дому по математике. Кроме того, я раз в неделю ездил в Уста (Аусситг), в северную Чехию, где в кружке еврейской националистической молодежи преподавал иврит. Это очень хорошо вознаграждалось, мне оплачивали и стоимость билетов скорым поездом.

В университете в то время философские науки читали несколько профессоров и доцентов: будущий первый президент Чехословакии Масарик, затем Крейчи, Радл, Тврды, Халупны и Дртина. Все они, без исключения, были сторонниками идеализма. Масарик, эклектическая философия которого примыкала к платонизму, и чьи социалистические взгляды и политическая деятельность (он был лидером партии «реалистов», издававшей газету «Время» – «Сах») были – для представителя буржуазной интеллигенции – несомненно левыми, передовыми, пользовался большой популярностью среди студенчества, да и среди рабочих. На меня он производил сильное впечатление оригинальной личности, искреннего демократа. Конечно, позднее, при его президентстве, творилась антинародная

политика, в том числе расстрелы бастующих рабочих. Этим Масарик только лишний раз оправдал болгарскую поговорку: «Хочешь узнать человека, дай ему власть», верность которой, как это ни странно, исторически подтверждена для политических (и не только политических, но и научных и культурных) руководителей любого общественного класса. Что же касается позднейших антибольшевистских выступлений Масарика (равно как и Андре Жида, и ряда других представителей западно-европейской интеллигенции), которые мы, коммунисты, тогда с негодованием отвергали и клеймили как запроданные капитализму, то сейчас, в ретроспективе, после разоблачения массовых кровавых преступлений сталинского террора и продолжающегося и поныне попирания элементарных прав человека и расправы с инакомыслящими, я, как мне кажется, способен объективно расценить и понять причину этих выступлений. Масарик и другие просто отождествляли последовательно коммунистические, а значит высоко гуманные принципы большевизма, с их извращениями правящими советскими, а после и другими «социалистическими» политиками, чтобы обрушиться на эти принципы. Но такое же отождествление сознательно или по недомыслию допускают современные коммунисты-аллилуйщики для того, чтобы всячески оправдывать этих политиков, обелять их злодейства.

Небезынтересно отметить, что на семинарских занятиях, которые, как правило, вел не профессор, а доцент, зачастую разгорались горячие диспуты, из которых «победителем» не всегда выходил руководитель. А во время экзамена студент мог защищать взгляды, идущие вразрез с мнением профессора – правда, не всякого, были и крайне нетерпимые, и расхождения обычно не были слишком уж радикальными. Но во всяком случае большинство экзаменаторов выше всего ценило не пересказ прослушанного и прочитанного, а умение самостоятельно критически философски мыслить. И опять-таки нельзя воздержаться от сравнения: попробуй теперь советский или чехословацкий студент на экзамене по основам марксизма-ленинизма высказать какую-нибудь свою, собственную, выстраданную им, но по мнению преподавателя еретическую, крамольную мысль – провал, а то и «проработка» и даже изгнание из института, а не исключено и арест, ему обеспечены.

Мои математические занятия продвигались успешно. За время пребывания в высшей школе, я не только продолжал решать задачи по элементарной математике, публикуемые в приложении к «Журналу чешских математиков и физиков», но иногда и сам составлял их и посылал в журнал. Это пристрастие к математическим (а в последние годы и к логико-математическим) задачам осталось у меня и теперь, я люблю решать их и мучить ими любителей, и своему математически одаренному внуку, пятнадцатилетнему Васе, иногда предлагаю их. Книжка «Занимательная логика», написанная по моей инициативе вместе с профессором Зихом, тоже свидетельствует об этом увлечении.

Еще до того, как я окончил университет, я стал работать вычислителем при астрономической обсерватории. Меня не могли зачислить в ее штат не только потому, что у меня пока еще не было научной степени. Дело в том, что при существовавших австрийских бюрократических порядках, прославленного «шимля», для назначения на штатную должность «ассистента вычислителя», как и в любом государственном учреждении самого низшего чиновника, требовалось утверждение министерства в Вене. На это уходили многие месяцы, а то и год-два. В моем случае приходилось ожидать затяжки, а то и опасаться, что утверждения вовсе не последует.

На основании международного разделения труда, существовавшего между обсерваториями, мы в Праге занимались определением орбит астероидов – малых планет, которых, главным образом в пространстве между Марсом и Юпитером, насчитывается свыше полутора тысяч. В большинстве они очень малы, и, должно быть, являются осколками пятой по счету планеты, когда-то обращавшейся вокруг Солнца, но погибшей вследствие какой-то катастрофы. Какие могли быть причины? То ли столкновение с кометой, или другим небес-

ным телом, то ли внутренние напряжения, вызвавшие взрыв планеты, а то и «успехи», быть может, существовавшей на ней цивилизации, приведшие к уничтожению самой планеты в термоядерной или еще более гибельной тотальной войне? В наш атомный век, для сочинителей фантастических романов тут имеется готовый сюжет.

Мы получали в готовом виде лишь столбцы цифр – исходные данные, координаты различных положений астероида, снятые, замеренные с фотопластинок. При существовавшей тогда вычислительной технике – семнадцатиместных таблиц логарифмов и гониометрических функций и ручных арифмометрах – это была очень кропотливая работа, продолжавшаяся многие месяцы.

А в настоящее время, после составления программы – процесса, который также может быть, хотя бы частично осуществлен автоматически – ЭВМ выполняет эту работу в течение нескольких минут, в крайнем случае, часов.

С тех пор, несмотря на бурные перипетии моей жизни, на долгое время оторвавшие меня от науки, я не потерял живого интереса к астрономии. Когда, после 1962 года, я снова вернулся в Москву, то в течение всего времени принимал активное участие в методологическом семинаре Астрономического института имени Штернберга, выступая на нем с докладами. В Чехословакии я дружил с космологом Пахнером, притесняемом и в конце концов вынужденном эмигрировать, а в Москве – с талантливым Зельмановым.

В связи с философскими проблемами естествознания, хочу еще заметить, что я недоумевал тогда (теперь недоумевать перестал, но многие недоумевают и сейчас), как же это немалое количество ученых-естественников могут быть искренне религиозными. Мы, студенты, знали, например, что один из профессоров, читавших звездную астрономию и астрофизику, и в своих лекциях никогда не упоминавший о боге и других сверхъестественных силах, перед началом занятий отстаивал на коленях заутреннюю мессу в университетской часовне.

Замечательные люди

Упомянув о мировоззренческих проблемах, я вспомнил, что раньше я позабыл назвать престарелого профессора Тильшера, геометра, который на своих лекциях – я слушал их, правда, только спорадически – обязательно затрагивал, с позитивистских позиций, философские проблемы математики, в особенности вопрос о существовании, наряду с эвклидовой, одинаково логически непротиворечивых неэвклидовых геометрий. Во всяком случае, уже к тому времени у меня все сильней стал проявляться интерес к методологии математики, к вопросам ее логико-философских основ, а также к методологическим вопросам физики и астрономии, равно как и истории всех этих наук. Но, конечно, наиболее сильное влияние в этом отношении оказали на меня лекции Эйнштейна.

О существовании теории относительности (равно как и квантовой теории) я узнал из научно-популярных журналов и, позднее, из курса Хвольсона. Но на одном из математических семинаров я завел знакомство со студентом физики старшего курса, очень даровитым, оригинально мыслившим Ружеком. По его просьбе я стал помогать ему в математическом обзорном реферате о Бернуллиевых числах, и вот однажды Ружек с восторгом сообщил мне, что в немецком университете сам основатель теории относительности, представляющей настоящую революцию в науке, Альберт Эйнштейн будет читать лекции. И он, Ружек, обязательно станет их посещать. Он уговорил меня сделать то же.

Хотя доступ на университетские лекции был вполне свободен, я не без некоторой опаски входил в аудиторию «чужого» немецкого университета. Она оказалась битком набитой, присутствовали не только студенты, немцы и чехи, но и многие профессора. Со времени опубликования первой работы Эйнштейна по теории относительности прошло шесть лет. За это время вокруг нее и ее автора создалась атмосфера жарких споров, восхищения и негодования, в те годы, правда, еще ограничиваясь сравнительно узкими научными кругами. Как-никак теория относительности представлялась многим чем-то заумным, а сам Эйнштейн, преемник здесь, в Праге, кафедры Маха, сенсацией.

Как это полагается на вступительной лекции нового профессора, Эйнштейна аудитории представил ректор. Эйнштейн оказался среднего роста, довольно плотным, совсем молодым еще мужчиной, с буйной курчавой шевелюрой, для профессора университета и этого торжественного момента несколько небрежно одетым. И без всякой торжественности он начал быстрым темпом излагать в сжатом виде основы специальной теории относительности. Это должно было служить лишь введением к его лекциям по общей теории относительности, которую он тогда, а также ее приложение к космологии, разрабатывал. Уже на этой первой лекции было ясно, что большинство слушателей не в состоянии понимать специальное «сухое» физико-математическое изложение лектора, и не услышали от него – по крайней мере на этот раз – тех обще-философских рассуждений, ради которых – если не просто ради того, чтобы увидеть знаменитость, или потому, что так «полагается» – они явились сюда.

Уже со второй лекции аудитория стала заметно редеть – мы с Ружеком установили, что в убывающей геометрической прогрессии – пока не стабилизировалась на каком-то десятке с лишним человек-энтузиастов. На Эйнштейна, однако, это не произвело заметного впечатления. Он придерживался такого же принципа, как и наш профессор Соботка, который говаривал: «Ничего, трое составляют общество – бог-отец, бог-сын и дух святой присутствуют всегда, а поэтому, если вас, господа, и никого не будет, я все-таки стану читать».

На следующие лекции Эйнштейн приходил одетым совсем по-домашнему, в свитере, часто без галстука, зато однажды, по рассеянности, явился сразу в двух. В то время носили кальсоны, завязывавшиеся внизу тесемками. Эти тесемки у него иногда болтались, испач-

канные осенней слякотью пражских улиц. Понятно, что мы, студенты, сразу же зачислили Эйнштейна в чудаки. Но чудно, и вместе с тем чудно было совсем другое – содержание его лекций, способ изложения и его отношение к слушателям. Почти каждая его лекция была творческой импровизацией, он просто рассказывал о том, над чем в данное время думал, зачастую спорил сам с собой, призывал нас участвовать в этом споре. Напишет на доске то крупными знаками, то мелким, почти бисерным почерком уравнение. А потом внезапно задумается и взволнованно говорит: «Что же вы, господа, молчите? Ведь все это неправильно, тут ошибка!» И стирает написанное, заменяет другим. А то откладывает продолжение, заявляя: «Надо нам это продумать». Какая разница между Эйнштейном и теми непогрешимыми, богоравными политиками, которые ни за что не признают допущенные ими ошибки!

Эйнштейн любил, чтобы его перебивали, – вещь немыслимая у других профессоров, – чтобы задавали «каверзные» вопросы, вел длинные беседы со слушателями. Часто – даже в дождливую погоду, на которую Прага не скупится, – небольшая группа студентов провожала его домой после лекции. И если интересная беседа не кончалась, то он – уже тогда мировая знаменитость – был в состоянии повернуть и сам проводить провожавших его до «менсы» – студенческой столовой. Да, Эйнштейн был подлинным, не показным демократом.

Но популярность Эйнштейна имела уже тогда и обратную сторону. Немецкие националистические, антисемитские студенты, «бурши» разных объединений, отличавшихся своими разноцветными фуражками, всячески старались отравить ему пребывание в Праге. Возможно, отчасти в виде внутреннего протеста, в Эйнштейне пробудилось сознание принадлежности к еврейской национальности, или, во всяком случае, усилилось в нем. Он стал общаться с пражской еврейско-националистической и сионистской интеллигенцией. И, не будучи правоверным сторонником иудаизма, он стал играть по большим еврейским праздникам в синагоге на своей любимой скрипке. Как известно, из Праги Эйнштейн уехал в Берлин, где ему были созданы исключительно благоприятные условия для работы, пока жуткая волна гитлеризма не захлестнула Германию.

Я без смущения сознаюсь, что мне было трудно понимать лекции Эйнштейна. Пришлось изучить новый созданный аппарат специального тензорного анализа. Но я выдержал, и вместе с Ружеком, которому обязан тем, что пришел в соприкосновение с величайшим физиком нашего времени, первым из тех многих замечательных людей, с которыми жизнь, не баловавшая меня в других отношениях, в виде компенсации дала мне возможность встретиться, до конца оставался одним из немногих слушателей. Пространство, время, материю и ее движение Эйнштейн толковал – как я сейчас понимаю – отнюдь не по-махистски, а как существующие объективно, независимо от познающего их субъекта, причем не в боге, не в каком-то абсолютном мировом духе, а в материальной природе. Его религиозные взгляды сводились, собственно, лишь к признанию некоего высшего морального принципа, к вере в человека, в гуманизм, в духовный исторический прогресс. Впоследствии, как я об этом расскажу в своем месте, мне вновь пришлось встретиться с Эйнштейном. А про Ружека я, после моего возвращения в Прагу в 1945 году, узнал, что он спился и преждевременно умер.

Окончание университета завершилось, как и положено, «промоцией» – торжественным вручением диплома. В большой «ауле», – актовом зале, – получала его сразу целая группа выпускников философского факультета. За длинным, покрытым красным сукном столом, на возвышении, сидели профессора, во главе с деканом, одетые в черные мантии и береты, с золотой цепью на шее. Был тут и «педель» – привратник в красной мантии, державший золотой жезл – знак достоинства университета, который впоследствии украли нацисты. Играла праздничная музыка, орган, звучали фанфары. Я, как и другие выпускники, должен был повторить латинскую формулу клятвенного обещания никогда не извращать науку ради посторонних, корыстных целей, применять ее исключительно только на пользу человека, а

не во вред ему. Эта формула, как в основных чертах, а отчасти даже в буквальном тексте, и вся церемония, сохранились со средних веков, со времени основания Пражского университета Карелом IV в 1348 году.

В свои студенческие годы я соприкоснулся также с литературным миром. Для этого мне не приходилось ходить далеко, ведь трое моих родственников со стороны матери были писателями, причем даже известными: два двоюродных брата – Франтишек и Йиржи Лангеры и троюродный брат Макс Брод. Франтишек, старше меня на четыре года, в то время заканчивавший медицинский факультет, уже прославился не только лирическими стихами, но и рассказами, а главное – стихотворной драмой «Святой Вацлав», удостоившейся постановки на сцене национального театра. В ней молодой легендарный Вацлав, первый из чешских королей, став во главе народа, избавляет его в победной борьбе от нашествия чужеземцев, возможно тоже пришедших «освобождать» бедных чехов (ведь и Гитлер был в Чехии только «протектором», что значит «охранителем», а войска пяти «социалистических» стран, «вошедшие» в нее в 1968 году, тоже лишь «спасали» ее).

Франтишек Лангер получил звание национального художника Чехословакии. Пройдя сложный путь от неоформленных анархистских увлечений ранней молодости, затем симпатий к марксизму, Лангер, попав на русский фронт Первой мировой войны, тут же вместе со всем полком, состоящим преимущественно из чехов, сдается в плен, и как дивизионный врач в чехословацких легионах, принимает участие в национально-освободительной борьбе против Австро-Венгрии. А в дальнейшем, в Самаре и в Сибири, вместе с другими легионерами, Фирлингером и Свободой в том числе, обманутыми своим политическим руководством, он участвует в жестоких выступлениях против большевиков. Так получилось, что мы с Франтишеком тогда, собственно, воевали друг против друга.

История чехословацких легионеров так до сих пор и не появилась. Да возможна ли вообще объективная историография? Существовала ли она когда-либо? Не являются ли все исторические сочинения палимпсестами – папирусами, на которых всякий последующий древне-египетский храмовый писец тщательно выскабливал предыдущий текст, и заменял его угодным царствующему фараону?

Франтишек Лангер принадлежал по своему литературному профилю к кругу Карела Чапека, близким другом которого он был. Его произведения выделяются тонкой философской направленностью, поисками ответов на вечные «проклятые» вопросы, занимающие человека всю жизнь и во все века. Он давал читателю выпить чашу и сладости и горечи до дна.

Лангер участвовал и во Второй мировой войне, в рядах чехословацких войск во Франции, в чине генерала руководил их медицинской службой. Своей антивоенной, антифашистской тематикой (рассказ «Речь над колыбелью», драма «Бронзовая рапсодия», написанная в последние годы жизни) он продолжил те подлинные гуманистические и демократические мотивы своего богатого творчества, которые, как и у всех передовых чешских писателей, характеризуют его лучшие произведения.

Именно благодаря Франтишеку я впервые увидел Гашека. Еще до этой встречи я прочитал несколько фельетонов Гашека, которые этот богемствующий юморист, о чьих веселых похождениях ходили по Праге самые невероятные истории, помещал без разбора в любых газетах, кроме, разве, крайне правых, клерикальных. Но вот, в 1911 году, во время дополнительных выборов в Краевой сейм от нашего города Королевские Виноградy, Франтишек предложил мне пойти с ним на одно собрание, обещав, что я там потешусь на славу. Мы отправились вечером в трактир «Кравин». Здесь проходило предвыборное собрание новой политической партии, «Партии умеренного прогресса в рамках закона», которую издевательски основал Гашек, выдвинув от нее кандидатом в Сейм самого себя.

В насквозь прокуренном и пропахшем пивными парами не очень большом зале, в сизом дыму которого, как говорится, можно было топор повесить, было битком набито. За столами, осушая одну кружку пива за другой, сидели собравшиеся сюда со всей Праги друзья Гашека и почитатели его юмора. Но было также и немало жителей Коронного проспекта (ныне проспект Вильгельма Пика), где располагался трактир, и прилегавших к нему улиц, привлеченные именем кандидата и странным названием его партии. Под импровизированным помостом, за длинным столом сидели с важным лицом основатели этой партии, члены ее Центрального комитета. И Франтишек, как один из них, уселся там, потащив и меня. А на возвышении за небольшим столиком восседал, строя еще более серьезное лицо, молодой председатель собрания, и там же полицейский комиссар, строгий, в полной форме, снявший лишь кепи. Здесь же стоя с увлечением, разойдясь, выступал со своей «кандидатской речью» сам Гашек.

Это был пухлый, розовощекий шатен с рыжеватым оттенком волос, с маленькими слезящимися сероватого цвета глазками, с неопределенной постоянной добродушной улыбкой, почти не сходившей с его, казалось, никогда не смеющегося лица, с какими-то в общем замедленными, но иногда не к месту порывистыми движениями. Он производил впечатление человека, находящегося постоянно «на взводе», а сейчас, вдобавок, изрядно уже хватившего. Так оно, должно быть, и было, потому что мы с Франтишеком сильно опоздали, а Гашек ораторствовал уже час или два, то и дело залпом осушая кружку, чтобы прочистить горло. Но как он говорил! Это были сплошь шедевры экспромтов, пародии на трескотню политиканов, на пустословие газетных передовиц, выпады против кандидатов-соперников, обещания реформ, которых он, Гашек, будучи избранным депутатом, добьется! И все это пересыпано анекдотами, неподражаемыми клоунадами, тут же разыгрываемыми им. Зал снова и снова грохотал от взрывов хохота. А полицейский комиссар, абсолютно не понимая, что здесь творится, растерянно ерзал на месте, не зная, следует ли ему вмешаться. На этом кончилось мое первое знакомство с Гашеком. Следующие встречи состоялись лишь через три года, а затем еще через шесть лет.

Литературное творчество младшего брата Франтишека, Йиржи (или Мордехай, как он своим еврейским именем стал позже называть себя), о близкой дружбе с которым в детские годы я уже рассказывал, принадлежит сразу трем литературам. Он писал одинаково свободно на чешском, немецком и древнееврейском языках. Правда, писательская известность пришла к нему уже тогда, когда меня давно не было в Праге.

Интерес ко всему таинственному, который Йиржи и прежде проявлял, как свойственно юному возрасту, но только более интенсивно, чем он выражался у других, в том числе и у меня, с годами стал у него все больше усиливаться, превращаться в увлечение религиозной мистикой, направление же моего ума вообще было естественно-научное, и поскольку – как я об этом тут же расскажу – я стал усваивать научное, материалистическое мировоззрение, непримиримое ни с какой мистикой. А Йиржи между тем сблизился с Альфредом Фуксом, парнем моего возраста, стройным, с пританцовывающей походкой, и они вместе стали изучать Талмуд, комментарии к нему, а главное – Каббалу. Для этого они освоили и родственный древнееврейскому, но все же сильно отличающийся от него, мертвый арамейский язык. В то время в Праге в церкви Змауэского монастыря, по воскресеньям вел свои пламенные фанатичные проповеди патер Альбан, гремевший ораторской славой Савонаролы. Под его влиянием многие холодные христиане «обращались» к вере, а Альфред Фукс сменил еврейскую мистику на католическую, углубился в средневековые латинские тексты, затем принял крещение, стал монахом и видным религиозным философом. После оккупации Чехословакии нацистами, гестапо извлекло Фукса из монастыря и замучило его в концлагере в Дахау.

Однако Йиржи Лангер практически превратился в хасида. В 1914 году Йиржи уехал в восточную Галицию, в местечко Бельц, где некоторое время подвизался при «дворе»

тамошнего раввина-чудотворца, пожалуй, самого прославленного своим прямым «общением» с богом. Но с этой печальной унылой болотистой местностью, с этой дикой заброшенностью, отсталостью и грязью местечка, жившего как бы еще в XIV веке, Йиржи не мог свыкнуться. И он вернулся домой.

Он появился здесь в полном хасидском наряде, в длинном до пят кафтане, глубоко нахлобученной широкополой черной плюшевой шляпе, которую хасиды, вместе с языком идиш в век миннезингеров вывезли с собой из южной Германии и консервативно сохранили. Лицо, все заросшее рыжеватой бородой, длинные вьющиеся пейсы до плеч. Он так ходил по Праге, вызывая насмешки прохожих, смущение и возмущение домашних. Но вскоре он вновь уехал к своим хасидам – как он утверждал, ему так велел «явившийся» ему бельцский раби. Однако тут же началась война, и Йиржи мобилизовали. На военной службе, не желая осквернять себя пищей «трейфе», он питался одним только хлебом и луком, и наотрез отказывался носить в субботу винтовку. Его арестовали, угрожали военным трибуналом, но признали душевнобольным и от военной службы освободили. И Йиржи еще раз вернулся в восточную Галицию, где, однако, разгорелись самые бурные военные действия того времени. Тогда он, вместе с хасидами, эвакуировался в Венгрию, где и оставался до 1918 года, до распада Австро-Венгрии. Теперь уже гражданин Чехословакии, он снова возвратился в Прагу. Все эти приключения Йиржи, начиная с 1914 года, мне стали известны по воспоминаниям Франтишека Лангера.

Вернувшись, Йиржи, к удивлению всех, углубился в изучение сочинений Фрейда, опубликовал несколько статей в фрейдистском журнале «Имаго», и в 1923 году на немецком языке книжку «Эротика Каббалы», а на иврите – поэтический сборник «Пиютим вешират едидут» («Стихи и песни дружбы»). Он сдружился с писателем Францем Кафкой, который был старше его на 11 лет, и с писателем Максом Бродом, тот был старше на 10 лет. Йиржи издал на чешском научно-популярную книжку о Талмуде и его возникновении со ста отрывками, переведенными из него. В то время германские фашисты уже начали распространять свою человеконенавистническую «мораль» и антисемитскую пропаганду. И по замыслу Йиржи его книжка должна была дать этому отпор.

Конечно, Талмуд – это средневековое сочинение, содержащее, наряду с прекрасными, поэтичными народными легендами, которые высоко ценили Бялик и Горький, в своих узаконениях религиозного права и быта массу всякого суеверного вздора. Однако, в общем этика Талмуда гуманна, несравненно выше звериной аморальности не только таких пасквилей, как «Mein Kampf», но и тех, якобы антисионистских, на деле же антисемитских, писаний, в немалой мере сдутых с дореволюционных, черносотенных, которые в последние годы стали выходить массовыми тиражами в СССР, Чехословакии и Польше. В 1937 году появились «Песни обреченных» (в 1939 они были изданы вторично) – чешский перевод, сделанный Йиржи, избранных еврейских поэтов с XI по XVIII век, включая и элегию Авигдора Кара, одного из немногих, кто пережил кровавый погром пражского гетто в 1389 году. В том же 1937 году вышла чешская книга Йиржи, самый прекрасный его труд «Девять ворот» – рассказы и легенды о хасидах, принадлежащая, по общему мнению, к жемчужинам чешской художественной литературы. В 1959 году она была переведена на немецкий язык, а в 1961 вышла на английском в Лондоне и Нью-Йорке.

Осенью 1939 года, спасаясь от гитлеровцев, Йиржи перебрался в Словакию, откуда подкупленные гестаповцы за приличную мзду давали пока еще евреям бежать в Палестину. Плывя в невероятно тяжелых условиях при тридцатиградусном морозе на железной барже по Дунаю, Йиржи простудился и, прибыв в «обетованную землю» тяжело больным, после четырехлетних страданий скончался в 1943 году в Тель-Авиве от нефроза. Будучи больным, он продолжал писать, и, уже посмертно вышел сборник его стихов «Меат цори» («Немножко бальзама»), содержащий и стихотворение «На смерть поэта», посвященное Францу Кафке.

С Максом Бродом мы встречались редко. Я находился с ним лишь в отдаленном родстве, а, главное, он, как он сам называл себя, был «еврейским писателем немецкого языка», а, следовательно, мы вращались в разных кругах. Он был старше меня на восемь лет, что в молодом возрасте много. Кроме всего прочего, он был юристом, а у меня всегда – будь я суеверен, я сказал бы, в предчувствии моих будущих судеб – почему-то чувствовалась какая-то аверсия ко всем и ко всему, что связано с правосудием.

Наконец, Макс Брод уже тогда, когда я впервые прослышал о нем, славился как выдающийся автор романов и повестей, действия которых иногда развиваются в современной, а то и средневековой пражской среде, проникновенно воспроизведенной им. И я, естественно, чувствуя большое почтение к писателю, робел перед первой встречей с ним. Не помню уже по какому поводу, она состоялась у него на квартире, куда я с мамой пришел в гости. Но Макса Брода я представлял себе совсем другим. Ничего от великого, или хотя бы знаменитого человека. Простой человечек низенького роста, вдобавок горбатый. Осталось общее впечатление: гуманиста, ратующего за культурное сближение населения Чехии – чехов, немцев и евреев; еврейского националиста, но отнюдь не шовиниста, затем сиониста, а в философии – идеалиста.

Макс Брод был самым близким другом Франца Кафки, а после его смерти издателем и комментатором его сочинений. Этот необыкновенно своеобразный писатель сумел как никто другой в своих в большинстве не оконченных романах «Америка», «Процесс», «Замок» и в своих рассказах выразить не только страх, тоску, заброшенность, одиночество человека в обесчеловеченном мире империализма, а поразительно тонко почувствовать весь ужас бытия в любом тоталитарном государстве, где человек отдан на произвол безымянных сил. Несомненно, что тому, что Кафка смог столь остро ощутить весь тот надвигавшийся на человека кошмар, в котором мир, не только в Германии, но и в СССР, и в США, погрузился с тридцатых годов, содействовало то, что Франц Кафка был еврей, с сильным национальным самосознанием, пробудившемся в нем под ударами антисемитизма, чутко воспринимавший все положительное, как и отрицательное, что связано с еврейством. Вместе с Максом Бродом Кафка изучал иврит, их учителем был как раз Йиржи Лангер. Макс Брод повторял, что одна лишь толерантность, терпимость к другой нации, не только недостаточны, но и оскорбительны, что они сводятся к этакому похлопыванию по плечу. У нас, коммунистов, термин «националист» давно стал бранным словом, по крайней мере в применении ко всякой другой нации кроме русской, да еще и арабской. О великодержавном русском национализме стыдливо умалчивают. А также о том, что великий интернационалист Ленин написал статью «О национальной гордости великороссов». Если подлинный интернационалист имеет право гордиться тем, что он русский, почему интернационалисту-еврею нельзя гордиться тем, что он еврей? Почему он тогда становится сразу не то «космополитом» не то «сионистом»? Видите ли, еврею положено ассимилироваться. Но для ассимиляции нужны двое: тот, кто желает ассимилироваться, и тот, кто позволяет, чтобы к нему ассимилировались.

Мы должны признать, и отнюдь не только в связи с «еврейским вопросом», что Маркс, при всей своей гениальности, недооценил значение национального вопроса (в частности, доверившись предвзятым, пангерманистским источникам, он считал чехов нацией, обреченной на гибель). Национальный вопрос, как об этом свидетельствует вся новейшая история, будет еще не предвидимо долго играть огромную роль. Хотя и в меньшей мере, чем Маркс, Ленин тоже недооценил все значение национального самосознания.

Ведь не все ли, в конце концов, равно, нация или только национальность евреи, раз они сами, или какая-то часть их, ощущают свою самобытность, которую – не только в религиозной форме – они, вопреки всем жесточайшим преследованиям, через два тысячелетия сумели сохранить. И не требовала ли материалистическая диалектика признания Лениным того, что раз евреи, которые ведь когда-то несомненно были нацией, смогли, при определен-

ных исторических условиях, потерять требуемые им для определения нации признаки, то может наступить также момент, когда они, при других исторических условиях снова приобретут их?

Ведь каким гигантским бы ни было определяющее значение классовой борьбы в развитии общества, она все же не ликвидирует, а только модифицирует национальную, а также и религиозную борьбу.

Что же касается сионизма, то я считаю, что мы, коммунисты, не имеем никаких причин возражать против того, чтобы евреи, если они этого желают, возродились как нация, со своим государством, языком, всей культурой. Однако мы решительно должны возражать против того, чтобы навязывать евреям эту идею, чтобы считать каждого еврея, гражданина любой страны, потенциально гражданином Израиля, чтобы осуждать его за то, что он желает ассимилироваться. Столь же решительно мы должны выступать против того, чтобы суверенитет евреев в Израиле осуществлялся за счет арабов, их экономической, политической и культурной дискриминации. Совершенно неприемлем так называемый «принцип исторических границ», согласно которому, раз вся Палестина в древности обиталась евреями (что, впрочем, сомнительно), то она и теперь должна принадлежать им. Ведь если руководствоваться этим порочным принципом, то, например, в Европе не осталось бы ни одной страны, границы которой не пришлось бы до неузнаваемости перекраивать. И мы должны настаивать на том, что гарантии безопасности любого государства это не столько отодвинутые и «удобные» в военном отношении границы (чего, к примеру, добился Сталин в войне против Финляндии, но что совершенно иллюзорно при современной технике), сколько дружеские, лишенные реваншистских настроений, взаимоотношения с соседями.

В беседе с руководителями Компартии Израиля, с Микунисом и ныне уже покойным Снээ (с Вильнером я тоже виделся и убедился, что он ничтожество, а его партия – просто платная экспозитура советских руководителей), я настойчиво высказывал мнение, что им нужно бороться не просто за дружбу евреев с арабами, а за братство, «гитахавут», с ними, что их газета «Кол-Гаам» должна регулярно печатать страницу о славной истории и культуре арабов, а в приложении – уроки арабского языка, который коммунисты-евреи должны изучать, что они должны изыскивать разнообразные формы совместной работы евреев и арабов, поощрять смешанные браки и т. д.

Наконец я, понятно, осуждаю реакционную политику правительства Голды Меир, ее аннексионизм, ее союз с раввинатом, ее помыкание сефардами, – евреями, выходцами из стран Азии и Африки, находящимися на более низком культурном уровне, чем ашкенази – евреи, выходцы из Европы и Америки, ее притеснение израильских арабов, ее антирабочую и антидемократическую внутреннюю политику.

Огульное заушательское отношение к сионизму тем более странно, что именно благодаря Советскому Союзу самая заветная мечта сионистов – создание еврейского государства в Палестине – реализована, и тем более неоправданно, что сионизм вовсе не представляет идеологически и организационно единого течения. Наоборот, ныне это целый спектр – от левых социалистов до анархистско-экстремистских террористов фашистской партии «хсрут» («свобода»), а также до религиозных изуверов включительно. Казалось бы, что советские руководители, называющие себя самыми последовательными марксистами, должны были бы подходить к сионизму исторически, учитывать происшедшие в нем изменения, и что разумная реалистическая, и вместе с тем принципиальная коммунистическая политика должна бы быть направлена на сближение с теми сионистами, которые, как и мы, выступают за права арабов, за свободу евреев определять свою национальную принадлежность, и против мракобесной политики израильского правительства.

Я знакомлюсь с марксизмом

Осенью 1910 года, в самую первую неделю первого семестра в политехникуме, подошел ко мне Ладя Кожешник. С ним вместе мы окончили «реалку» и, как и я, он теперь трудился над первым чертежом винтов, гаек и прочих машинных деталей. Он спросил, не пойду ли я с ним на устраиваемый «Свободной мыслью» вечер, посвященный памяти Франциско Феррера. Я охотно согласился. «Свободная мысль» – название журнала, издававшегося организацией свободомыслящих, и вечер состоялся в его редакции. Хотя эта организация рабочих, но главным образом интеллигентов, которую возглавлял Бартошек, и была легальной, австрийская полиция, поддерживая клерикализм, всячески ущемляла ее. Она то и дело конфисковывала выходящие номера журнала, с пристрастием цензурировала его, в нем тогда появлялись большие белые «плеши», на редактора Бартошека налагала крупные денежные штрафы, и всех, соприкасавшихся с этой организацией, держала под своим негласным надзором.

В 1909 году в Испании церковная и светская реакции затеяли процесс против Феррера, передового педагога, боровшегося за отделение церкви от школы, обвинив его облыжно в самых тяжелых преступлениях. Несмотря на кампанию протеста, развернувшуюся тогда во всем мире, – пражские свободомыслящие устроили демонстрацию, которую полиция разогнала – Феррера расстреляли. В нашем школьном журнале «Без названия» мы с Крупским поместили посвященную этому чудовищному событию страстную передовицу. Но мировая передовая общественность все-таки добилась того, что Феррер был посмертно реабилитирован. Этот процесс, эта казнь, эта «реабилитация посмертно», стали одним из первых звеньев той длинной мертвящей цепи, которой сковано наше XX столетие.

Вечер под видом совещания редакции проходил довольно тоскливо. Доклад о Феррере сделал сам Бартошек, и одна девица прочитала о погибшем герое свои незадачливые, но искренние стихи. Я перебрасывался с сидящим со мной рядом парнем замечаниями. Соседом этим оказался немногим старше, чем я, студент второго курса Коммерческой академии Йозеф Пик. Это был невысокого роста блондин, в довольно-таки потрепанном костюме. Мы оба сразу прониклись взаимной симпатией, и после окончания вечера вышли вместе.

Пик, с рвением неофита – сам он стал социалистом лишь недавно – начал тут же излагать мне основные положения социализма, должно быть, пересказывая содержание последних прочитанных им брошюр. Я, понятно, знал о существовании партий социал-демократов и национальных социалистов (о последней тем более, что сын ее основателя, Клофача, учился в «реалке», в классе, параллельном моему) но мое представление о их целях было вульгарно-мещанское, они, дескать, хотят уравнять всех. Такие понятия, как «классовая борьба», «буржуазия», «пролетариат», «эксплуатация», «прибавочная стоимость», и такие имена, как Маркс, Энгельс, Каутский, прозвучали для меня впервые настоящим откровением.

Мой новый друг, с которым мы тут же перешли на «ты», и которого я стал звать его уменьшительным именем Пепик, рассказал мне также о своей жизни. Он – сирота, отец, сцепщик, погиб от несчастного случая. Он живет один с матерью, которая получает лишь ничтожную пенсию, так как управление дороги лживо объявило, будто его отец, мол, был выпивши. Но мать подрабатывает стиркой, конечно, тайно, иначе ее лишат и тех нескольких крон. А он дает уроки и получает стипендию, потому что учится на «отлично». Я был тронут доверчивостью Пепика, и в свою очередь поведал ему все о своей жизни, о жизни всегда сытого сынка зажиточной, обеспеченной семьи высшего чиновника.

Узнав о моих националистических взглядах, Пепик очень огорчился. Он не то обещал, не то грозился убедить меня отказаться от них, стать интернационалистом, не придавать

никакого значения национальности, вступить в студенческую организацию социал-демократической партии. «В следующий раз я дам тебе почитать чудесную книжку, которая откроет тебе глаза», – примерно так таинственно сказал он. Жил он неподалеку от мензы, в чердачной комнатке, вдвоем с его ласковой матерью. Я потом часто бывал у него, как и он у меня.

Книжка, точнее, брошюра в ярко-красной обложке, без переплета, которую принес мне Пик, оказалась чешским переводом «Коммунистического Манифеста». Привыкший не читать, а глотать художественные сочинения, я сначала было прочитал и это произведение чересчур быстро, но тут же убедился, что как следует не понял его, что у меня от него осталось лишь смутное общее впечатление, хотя и очень сильное. Идея наивная, романтическая, но непритворно честная, шедшая больше от сердца, чем от разума, навязчиво звала меня молодого всецело отдаться борьбе за освобождение человечества, за новое, справедливое устройство общества. Недовольный результатом первого чтения, я стал читать книгу второй раз медленно, но ряд мест все равно оставался для меня неясным. Мое самолюбие было задето: как же я, без чужой помощи разобравшийся в толстых учебниках высшей математики, не смогу как следует совладать с этой тоненькой, столь волнующей книжкой! Преодолев свою ребячливую гордость, я попросил Пепика разъяснить мне непонятные места, и мы незаметно стали перечитывать, или, собственно, изучать «Манифест» вместе. Однако оказалось, что и мой наставник не смог во всем разобраться, и, не смущаясь этим, предложил обратиться за разъяснениями к оканчивающему историко-филологическое отделение философского факультета Густаву Винтеру, его товарищу по социал-демократической организации. Так мы и сделали, и я впервые появился в ее помещении, состоявшем из двух беспризорных задних комнат канцелярии какого-то адвоката-партийца. Густав Винтер, на вид невзрачный, ничем не выделяющийся, очень близорукий молодой человек в очках, оказался редчайшим феноменом.

Он не только подробно, по-профессорски, с легкостью объяснил нам все трудные места. Это был настоящий полиглот. Оказывается, он в совершенстве знал все индо-европейские языки, не только славянские, германские, романские, но и кельтские, новогреческий, баскский, албанский и даже цыганский, изучал санскрит, и Бог знает еще какие языки. И все это в какие-то там 24 года! Я взирал на него, как на божество. С его и Пика помощью я быстро одолел это первое, попавшее мне в руки, фундаментальное марксистское произведение. И, конечно, никто из нас троих не поверил бы, что через 30 лет именно я напишу предисловие (я подписал его псевдонимом К. Арношт, как и некоторые другие свои работы) к новому, чешскому изданию «Коммунистического Манифеста», которое будет опубликовано в Москве во время Второй мировой войны в Издательстве иностранных рабочих.

В 1910 году социал-демократы, существовавшие в Чехии как партия уже с 1878 года, и ставшие постепенно многочисленной партией, располагавшей немалым числом депутатских мест в австро-венгерском парламенте и в других представительных органах, были идейно и организационно расколоты. Одна часть партии – если не ошибаюсь, составлявшая большинство – состояла из так называемых «центристов», другая, отколовшаяся как раз в этом году, называла себя «сепаратистами». И те, и другие были реформистами, добивались частных улучшений положения рабочих и трудящихся вообще в рамках капиталистического строя, чураясь даже мысли о его революционном свержении. А судьбу чешского народа они связывали с судьбой австро-венгерской монархии, которую хотели бы увидеть превращенной в своего рода федерацию более или менее автономных, национально управляемых земель с либеральной конституцией.

При всем этом, обе фракции сохраняли фразеологию «классовой борьбы», но именно лишь фразеологию. В области теории они придерживались бернштейнианства, этого противоестественного симбиоза марксизма с неокантианством, и его оппортунистического лозунга «движение – это все, цель – ничто». И вместе с тем между центристами и сепарати-

стами все же существовала разница, и не только организационная: центристы, входившие в единую общегосударственную партийную организацию как ее автономная часть, были более интернационалистами, чем совсем отделившиеся сепаратисты. Но зато последние были все же кое в чем менее оппортунистичны, в своих требованиях и средствах более революционны. Во всяком случае, все наиболее известные тогдашние чешские социал-демократические вожди – Соукуп, Немец, Модрачек – были правые.

Но в партии имелось и левое крыло, правда, организационно не оформленное. Левые были сильны среди молодежи, в том числе студенческой, а также среди социал-демократов немцев, обитавших в Судетах. Они ориентировались на Каутского, пока еще не проявившего свое позднейшее отступничество (тогда еще Ленин рекомендовал его книги в качестве популярных учебников марксизма). Среди левых выделялись Карл Крейбих, редактор газеты «Вперед», выходившей в городе Либерец, и Штрассср, брошюру которого по национальному вопросу Ленин положительно оценил. Чешских левых социал-демократов возглавлял Богумир Шмерал. Эти левые вожди до 1914 так или иначе, хотя и далеко не столь решительно и последовательно, как в Германии Карл Либкнехт и Роза Люксембург, выступали против империалистической войны. Впоследствии они приняли активное участие в работе Коминтерна. Крейбих, а в особенности Штрассер, иногда читали доклады для нас, социал-демократических студентов (Шмерал был больше рабочим трибуном), и здесь я познакомился с ними. А в 1945 году Крейбих припомнил меня. У нас установились дружеские отношения с этим замечательным, душевным человеком (он был на 9 лет старше меня), которые продолжались, конечно, и тогда, когда при Новотном он, как и многие другие ветераны партии, находился в опале.

Но я возвращаюсь к нашей дружбе с Пепиком Пиком. В спорах с ним я высказывал свои сомнения не столько относительно экономических и социальных основ марксизма, сколько по вопросам философии, в особенности этическим. Я брал под сомнение, способен ли человек, который ведь по Дарвину по самой своей природе эгоист, стать когда-либо подлинным социалистом, альтруистом, действительно смогут ли люди создать гармоническое общество, в котором навсегда прекратится борьба интересов между ними. Вероятно поэтому второй книгой, которую раздобыл для меня Пепик (может быть, по совету того же Винтера), была не какая-нибудь брошюра вроде «Наемный труд и капитал», «Заработная плата, цена и прибыль») и, конечно же не первый том «Капитала» и «Анти-Дюринг», с которыми я ознакомился гораздо позднее, а немецкий перевод «Этики» Спинозы.

Этот удивительный труд произвел на меня неизгладимое впечатление. Не знаю, правда, рассеял ли он мои сомнения в человеческой моральной природе. Однако его пантеистическое положение «Deus – sive natura» («Бог – то есть природа») как бы только камуфлировало его подлинно материалистическое содержание, и помимо меня, бывшего, сколько я помню, всегда атеистом, этот его псевдо-религиозный дух, этот «Amor Dei aeternitatis» («Вечная любовь к Богу») естественно переключался в благорасположение, в благожелательство, благоволение и благоговение к природе и к ее созданиям, прежде всего к человеку и человечеству.

В считавшейся левой студенческой социал-демократической организации, членскую книжку которой, без всяких формальностей мне вручили весной того же 1910 года, мы много и страстно дискутировали, должно быть, довольно бестолково, вразброд, так как некоторые из нас увлекались самыми различными идейными течениями – Толстым, Бакуниным, Кропоткиным, Ландауэром, Вейнингером. Но, тем не менее, зерна материалистического, а затем и диалектико-материалистического мировоззрения, посеянные первыми усилиями Пика и Винтера и тех сочинений классиков марксизма и его популяризаторов, которые я прочитал, постепенно, в течении четырех лет, давали свои всходы. На лекциях по философии профессоров-идеалистов, при чтении обязательной классической философской литературы, я смог

теперь относиться ко всему этому критически. И со свойственной мне несдержанностью, я то и дело на семинарах, во время коллоквиумов и экзаменов, резко высказывал свое несогласие с преподанными нам концепциями. И это сходило мне с рук, не отражалось на отметках. И только один из профессоров, Радл, проявил ко мне свое недоброжелательное отношение. Я чересчур досаждал ему.

Еще один социал-демократ, года на три старше меня, оказал на формирование моих взглядов значительное влияние. Это был Дончев, черноглазый и черноволосый болгарин, родом из Тырново, студент старших семестров архитектурного факультета чешского политехнического института. Он считал, что силу можно преодолеть только силой, а не словами, какие бы они не были прекрасные. Должно быть, он просто воспроизводил взгляды своей революционной партии «тесняков», близкие к большевистским.

Что до меня, то от этих большевистских взглядов на революционную роль я не отказался и не намерен пересматривать их. Сам ход современной истории подтвердил незыблемость истины, что – за редчайшими исключениями таких «перебежчиков» от буржуазии к пролетариату, какими были как раз Маркс, Энгельс и Ленин, – капиталисты добровольно, под влиянием одних лишь доводов разума, справедливости, морали, никогда не откажутся от власти, от своих привилегий, от того грабежа, который они осуществляют ежечасно, и что только сила (или реальная угроза силы) в состоянии принудить их к этому. Однако наученный горьким опытом жизни я понял и другое, чего тогда не заметили не только такие, как я, но и умы, несомненно более прозорливые. Применение силы в борьбе против силы неизбежно вызывает явления, подходящие – выражаясь языком кибернетики – под категорию «обратной связи». Свергающие посредством насилия насилие, точнее, руководящие этим свержением, – сами становятся насильниками, применяя его теперь, чтобы приобрести и закрепить власть и привилегии для себя лично, для своего сословия, для своей касты.

Но каков же тогда выход? Я не знаю его, и не собираюсь предлагать какие-то рецепты. Конечно, я был бы счастлив, если бы знал их, уже потому, что это избавило бы меня от мучительного отчаяния, в которое, не скрою, впадаю иногда, думая о будущем человечества вообще, а конкретно, по-человечески, о том, которое ждет моих внуков. Неужто и они будут жить в такой же неволе, как жили мы, переносить столько – а возможно еще больше – бедствий, мучения, горя, как перенесло мое поколение? Но эти настроения безнадежности не доминируют у меня. Я сознаю, что несмотря ни на что, развитие человечества – хотя и возмутительно медленно, с зигзагами и флюктуациями регресса – в целом все же прогрессивно, причем не только в научно-техническом, но и в социальном и моральном отношении. И если не через десятилетия, то через столетия (разумеется, если оно прежде самое себя не истребит), человечество сумеет организовать подлинный коммунизм на Земле. Это не просто мое желание или вера, а вытекает из объективных закономерностей развития.

Мы, студенты, хотя и не скрывали свою принадлежность к партии, все же, по понятным причинам, и не афишировали ее. Так, я даже не счел нужным оповестить об этом своих домашних, не желая еще больше усиливать конфликт с отцом, возникший из-за моего еврейского национализма. Кстати сказать, Пепику так и не дали убедить меня, что социал-демократ будучи интернационалистом, руководствуясь лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», не может в то же время бороться за свободу еврейской нации, за ее освобождение. И я продолжал по-прежнему поддерживать свои дружеские контакты с баркохбанцами, читать на иврите литературу – Бялика, Черныховского и других – и преподавать этот язык. Вместе с тем, я прилежно читал партийную прессу и литературу, участвовал активно во всех мероприятиях партии.

В 1911 году в Австро-Венгрии социал-демократы развернули кампанию борьбы за восьмичасовой рабочий день – общегосударственную всеобщую забастовку, массовые демонстрации – причем в них участвовали, по меньшей мере, в Праге, и анархисты, и

чешские национальные социалисты и даже христианские социалисты, а также и еврейские по-алейцион – все, чехи, немцы и евреи, безразлично. Мы, социалистические студенты, конечно, также приняли в ней участие, с красными гвоздиками в петлице (это была эмблема нашей партии в отличие от красно-белых гвоздик – эмблемы национал-социалистов). Демонстрация была очень внушительная, хотя и вполне мирная. «Нарушение общественного порядка» сводилось к походу по мостовым самых широких улиц, на несколько часов задержавшему движение транспорта, к транспарантам с не слишком уж революционными лозунгами, к красным и красно-белым национальным знаменам, и к пению партийных, революционных песен. Полиция стушевалась, хотя ее конные отряды стояли в прилегающих улицах, и войска в казармах были приведены в боевую готовность. Но порядок удерживали сами наши люди, с красными повязками на рукаве. До столкновений с властями не дошло. А в результате этих демонстраций, проходивших во всех больших городах страны, восьмичасовой рабочий день был узаконен.

Участие в подобных волнующих массовых акциях, к которым принадлежали и ежегодные первомайские демонстрации, подкрепляли, понятно, мою привязанность к рабочему движению, так сказать, со стороны чувства, в то время как чтение, да и дискуссии, укрепляли ее со стороны разума. Но своими чувствами я был ведь и раньше подготовлен к участию в освободительной борьбе. Мое романтическое увлечение сначала чешским, а затем еврейским освободительным стремлением, послужили своего рода подготовкой к этому. Да и почти вся передовая чешская литература непременно содержала в себе мотивы то более, то менее острого протеста не только против национального, но и против социального угнетения народных масс, примером чему служило, скажем, сочинение Божены Немцовой «В замке и под замком». Я уже упоминал о стихах Морриса Розенфельда, но я прочел – конечно, в переводе – и «Мать» Горького, а главное долгое время прямо-таки жил под впечатлением «Силезских песен» Петра Безруча.

В конце июля 1914 года я собирался в дорогу – провести двухнедельный отпуск, полученный в Обсерватории, в южной Чехии, в небольшом живописном городе Крумлове, славящемся своим замком, у своего нового друга Клингера, с которым мы были одногодки, пригласившего меня погостить у него. Клингер изучал историю в пражском немецком университете, был баркохбанцем, и так называемым «культур-сионистом». Он был сторонником полу-анархического, полурелигиозно-толстовского социализма Ландауэра, противником политического сионизма. Он не соглашался с тем, чтобы евреи в Палестине создали государство, куда перенесли бы все то свинство, которое существует во всех государствах повсюду. Он представлял себе их живущими там свободно, в своего рода утопических сельскохозяйственных фаланстерах.

Я охотно принял его приглашение, тем более охотно, что мне очень нравилась его сестра Магда, милая девушка, только что окончившая гимназию. Я познакомился с ней в Праге, куда она приехала к брату со своим отцом, начальником железнодорожной станции в Крумлове. Я стал ухаживать за ней. Как и сам Клингер, и как тогда многие еврейские юноши и девушки, Магда изучала иврит, но вряд ли поняла бы меня, если бы я вздумал объясниться ей в любви на языке «Песни песней». Впрочем, так далеко у нас еще дело не успело зайти, не вышло ничего и из моей поездки. Надвинулись тревожные предвоенные дни.

Часть вторая. В войне и в революции

Муштра

29 июня в столице Боснии, в Сараеве, сербский студент Гаврила Принцип убил Франца Фердинанда д'Эсте, наследника императора, и его жену. Ровно через месяц после сараевского убийства начались военные действия, после чего, три недели спустя, русские войска вторглись в Галицию.

Была объявлена всеобщая мобилизация, и вскоре, как и сотни тысяч других молодых людей моего возраста, я получил повестку, предлагавшую явиться на призывной пункт. Призывная церемония была проще простого. Раздеться догола. В длинной шеренге, держа в руках всю свою одежду, подойти к столу призывной комиссии. Здесь военный врач, приложив стетоскоп к твоей груди, в одну минуту «осмотрит» тебя. И если ты только не калека, непременно произнесет: «Годен!» Фельдфебель, сидящий за столом, запишет и выдаст направление в полк, куда ты приписан. Мне выпал 91 пехотный, дислоцированный в Чешских Будейовицах. Его солдат прозвали «попугаями» из-за ярко-зеленых петлиц. Как окончивший среднюю школу с аттестатом зрелости, я числился «вольноопределяющимся». Одно это название звучало издевкой. Какие мы были «Freiwillige»?!

Ведь как и все прочие, я попал на военную службу не добровольно. Разница состояла в том, что в мирное время срок ее был ограничен одним годом вместо трех, и что вольноопределяющихся готовили в офицеры запаса. Но это звание дало мне тут же и другую льготу. Мне не пришлось отправиться в полк в вагоне для скота, битком набитом другими призывниками; мне выдали удостоверение, по которому в вокзальной кассе отпустили бесплатно проездной билет третьего класса.

На сборы полагалось 24 часа. Но ехать надо было уже солдатом, в мундире. Его выдавали в казармах в Дейвицах. Там я и получил его: синий, мешкообразный, громадный, не по росту. Многие давали срочно перешивать эти мундиры, превращать их даже в щегольские. Но я этого не сделал. Не то что война, но военная служба и все, связанное с ней, было мне ненавистно. Хотя, конечно, не так отчетливо, как теперь, но все-таки, как левый социал-демократ, я хорошо понимал, что война ведется в интересах, чуждых трудящемуся народу, что пользу из нее желают извлечь заводчики, фабриканты, банкиры, генералы любой воюющей нации. За что должны умирать такие, как я, все равно чехи ли, немцы, евреи, поляки или мадьяры, и почему мы должны убивать таких же, как я, сербов и русских? Австро-Венгрия, что ли, «отечество», которое мы должны защищать? Мстить миллионам за то, что террорист убил одну супружескую пару?

Я вышел из ворот казармы в этом нелепом мундире, обутый в жесткие, тяжелые, какие-то сморщенные военные башмаки не по ноге. Словно пугало со свертком своего штатского платья подмышкой, стал спускаться по склону Летненского парка к Влтаве. Настороженно озирался кругом, – при выдаче мундира нас предупредили, что мы должны отдавать честь каждому встречному военному чину, в противном случае нам угрожает наказание. Был сияющий солнечный августовский день, и «стобашенная» Прага во всей своей красе простиралась передо мною. Я уселся на скамью, чтобы – возможно, в последний раз, как я думал – полюбоваться этим видом, проститься с ним. Сегодня вечером предстоит тяжелое прощание, с мамой, с Рудольфом, с Мартичкой, с бабушкой. Потом уеду ночным поездом, а там – офицерская школа, краткосрочная по условиям военного времени, а потом на фронт, где разгул смерти.

В будейовицких Марианских казармах, мрачными сводами своих помещений напоминавших монастырь, началась наша муштра. Наши мундиры снабдили отличающими нас от простых солдат нашивками. Мы составляли особый взвод – офицерскую школу. По ее успешному окончанию производили в младший офицерский чин – в «кадеты». Учебная нагрузка была зверская. Это были сплошные марши с тяжелейшим коричневым ранцем из телячьей кожи за спиной, винтовкой со штыком, патронами. Упражнения в поле, излюбленные унтеров, глумившихся над нами, «белоручками» – бег на месте, вновь и вновь броски плашмя в грязь. И, конечно, стрельба по цели из винтовки, пулемета, пистолета, разборка, чистка и сборка оружия. Но, пожалуй, больше, чем все это, обращалось внимание на бесконечную чистку до блеска медных пуговиц на мундире, а в особенности, значка с инициалами Франца Иосифа на нескладном кепи, и на заправку по форме коек, на которых мы спали. Конечно, нам читали и лекции по различным предметам военного дела, но в большинстве они были устаревшие, рассчитанные на маневренное ведение войны, между тем она вскоре приняла вид войны позиционной, а ее стратегию, тактику, ее практические окопные приемы мы в нашей школе не изучали.

Национальный состав нашего полка был весьма пестрый: солдаты принадлежали ко всем национальностям «лоскутной» империи. Здесь имелись чехи и немцы (большинство, поскольку полк в основном рекрутировался в Чехии), затем словаки, поляки, украинцы (их тогда называли русинами), хорваты, сербы и словенцы, мадьяры, румыны и итальянцы, евреи и цыгане. Каждый говорил на своем языке, – настоящее вавилонское столпотворение’ Но кадровые офицеры были почти все немцы, и командным языком был немецкий. За исключением некоторых, чисто немецких и чисто мадьярских полков, почти все другие имели смешанный состав. Правительство хотело этим предотвратить измену. Этот расчет не был лишен основания. Пражский 28 пехотный полк, в значительной степени состоявший из чехов, попав на русский фронт, не только без боя сдался в плен, но и стал ядром чехословацких легионов, боровшихся против Австро-Венгрии.

Что собой представляли офицеры нашего 91 полка? Почти с фотографической точностью, лишь слегка шаржируя, их вывел другой солдат этого полка, Ярослав Гашек, в своем бессмертном «Швейке», причем под их настоящими фамилиями. Всех их – обер-лейтенанта Лукача, кадета Биглера, фельдкурата Катца и других, я застал в живых, каждого по-своему бесчинствовавших в Марианских казармах. По вечерам в большом зале, который когда-то мог служить монастырской столовой, лежа на своих топчанах, мы жадно слушали передаваемые вполголоса солдатами «старожилами» не рассказы, а легенды о них. О том, что здесь служил такой солдат Гашек, пражский писатель, – его недавно угнали на фронт с очередным маршевым батальоном. Хитрющий парень, притворявшийся дурачком. Он изводил офицеров, доводя выполнение любого приказа до несуразности. И придраться к нему нельзя было! И сыпались одна историйка смешнее и перченее другой. А мы, уткнув голову в набитую соломой подушку, еле сдерживали взрывы сотрясавшего нас хохота. Вот это и была моя вторая встреча с Гашеком.

Но вот, наконец, нашу школу построили в казарменном дворе, и полковник, ее начальник, сидящий верхом на лошади, объявил о ее окончании, произнес короткую патриотическую речь и зачитал список произведенных в младший офицерский чин кадета. Среди немногих, не названных в этом перечне, оказался и я, получивший лишь звание «кадет-аспирант», звание промежуточное между старшим унтерофицерским и младшим офицерским. Как мне уже на фронте строго конфиденциально сообщил командир нашего взвода лейтенант Блак, молодой, веселый венец, «прокурист» – коммерческий представитель какой-то фирмы – я не был допущен в избранное общество господ офицеров потому, что в списке, возле моей фамилии, значилась пометка «subversiv» – «неблагонадежный». Ясно, что это произошло по донесению тайной полиции о моей партийной принадлежности, не просто

к социал-демократам, которые в своем большинстве считались вполне «надежными», а к левым.

Став кадет-аспирантом с соответствующими петлицами, звездочками и нашивками, я, как уже сказано, попал в высший ранг унтер-офицеров, сразу перескочив все их низшие чины. Это, понятно, не могло расположить их ко мне. Особенно фельдфебелей, для которых военная служба была профессией (они служили 6 лет, после чего получали право открыть «трафику» – табачную лавчонку: продажа табачных изделий была государственной монополией), почти без исключения грубых, невежественных людей. Они брали взятки (продовольственные посылки) от имущих простых солдат и садистски издевались над неимущими. Нас, «образованных господ», они ненавидели, но вместе с тем и побаивались. Ведь чем черт не шутит, вдруг мы можем оказаться их начальниками.

Мне поручили заняться обучением следующего, только что прибывшего пополнения новобранцев, и я действительно провел с ними несколько дней в этих мучительных занятиях, ставших особенно неприятными в дождливую, слякотную погоду поздней осенью. Однако не прошло и недели, как мне объявили, что я зачислен в маршевый батальон, который вот-вот отправится на фронт. Обещали предоставить двухдневный отпуск для поездки в Прагу, проститься с семьей. Но через день такие отпуска были отменены, дали нам всего-навсего «увольнительную» на 4 часа. Что поделаешь! Домой я написал длинное прощальное письмо, а эти свободные часы решил использовать для поездки в близкий Крумлов – всего каких-нибудь 30 километров на юг от Будейовиц – чтобы увидеться с Магдой. Она переживала большое горе. Мобилизованный в самые первые дни войны, ее брат и мой приятель Клингер, пропал без вести. (Как выяснилось позднее, его убили в первом же бою.) Понятно, что при таких обстоятельствах, моя поездка не могла ободряюще повлиять на мое настроение. Она происходила второпях, чуть ли не с поезда на поезд. С Магдой и ее отцом мы простились, и больше я их никогда не видел и не смог узнать ничего о их дальнейшей судьбе. Вероятнее всего, они погибли от руки нацистов.

Как было типично для австрийского императорского и королевского «шлендриана», наша отправка на фронт со дня на день откладывалась. То оказались какие-то недостатки в амуниции, то на складе обнаружили хищение, – нехватку нужного количества мясных консервов, входивших в «железный рацион» солдата, то у железнодорожников получались неполадки с эшелоном. Но все это время, днем и ночью, в течение нескольких суток, мы находились в мобилизационной готовности, в нервном напряжении, офицеры и унтера суетились, вокруг царила неописуемая суматоха. Нас уже привели к присяге, «на суше, на воде и воздухе воевать не щадя живота своего за любимого императора и его августейшую семью». Фельдкурат Катц отслужил положенную полевую мессу (вроде «последнего причастия»), а мы все еще в Марианских казармах. Все же, в конце концов, под моросящим дождем пополам со снегом наш батальон прошел ранним утром парадным маршем через город на вокзал. Будейовицы, тогда с довольно большим процентом немецкого мещанского населения, провожали нас восторженно, с криками: «Jeder Schuss ein Russ[2]» А офицерам преподносили букеты астр, солдатам же сигареты и шоколадки. Но было и немало горя – плакали подружки солдат.

Нас напихали в вагоны с надписью «8 лошадей или 40 человек», и по команде «Запевай!» с нар, где мы разместились, раздалось пение, не очень стройное, и не всегда вполне пристойное.

[2] Каждый выстрел – один русский (*нем.*).

Фронт и контузия

Вот мы двинулись, но неизвестно куда. На сербский или на русский фронт? Этого не знал даже командир батальона. Поезд продвигался медленно, то и дело останавливался, как будто раздумывая, куда ему направиться дальше. В Линце, столице Верхней Австрии, ночью нас ждал обед, но, конечно, совершенно остывший. И лишь когда на какой-то станции в Венгрии поезд повернул решительно на север, что я сразу определил по компасу, мы все облегченно вздохнули. Значит, нас посылают на русский фронт, а не на сербский, пользовавшийся самой дурной репутацией. Не говоря уже о свирепствующих там эпидемиях и жесточайшем голоде, который ждал каждого, попавшего в плен, самих сербов изображали как стрелков, чьи пули, словно заколдованные, убивают, вылетая неизвестно откуда, и как дикарей, истых головорезов, которые не берут пленных, а убивают их, и даже раненых приканчивают своими кинжалами. По сравнению с ними русские были просто добрыми малыми.

В то время фронт проходил по северному склону Карпат. Русская армия, стоявшая в восточной Галиции, пыталась прорваться отсюда через карпатские перевалы и ущелья в Венгрию. И наш батальон направлялся на подкрепление австро-венгерских войск, оборонявших эти горные перевалы. Три мадьярских географических названия я отчетливо припоминаю – Такшань, Мезе-Лаборч и Шаторайяуйхей. Именно Такшань назывался тот полустанок, до которого нас доставили на следующие сутки. Когда мы выгрузились, то услышали отдаленную канонаду, отсюда мы направились походным порядком дальше на север. Дорога вела через заснеженные буковые леса. И с возрастающим трудом, тяжело нагруженные, мы поднимались все выше в гору. После несколькочасового похода мы добрались до селения, по-видимому, это и было Мезе-Лаборч, расположенного на склоне над долиной. Здесь стрельба слышалась, как казалось, совсем близко.

Наступила ночь, и нас разместили в жалких избах и покосившихся сараях нищего украинского племени гуцулов-лесорубов. Теперь они почти без остатка покинули свои убогие жилища, бежали от ужасов фронта. А те немногие, которые остались, какой вид был у них! Ребятишки в одних рубашонках босые бродили по снегу, выпрашивая у нас хлеба. Полуголые, кормящие грудью женщины, старики в лохмотьях. В избе – посредине очаг, в крыше дыра, куда уходит дым, черные от сажи стены, глиняный пол, стол, скамьи, тряпье и овчины вместо постели – вот и вся обстановка. Тут же с людьми живут и козы. Грязь и вонь неимоверные. А все это – в центре Европы, в XX веке! И за сохранение такой «культуры» мы должны проливать нашу и чужую кровь…

На сеновале я – разумеется, не раздеваясь – заснул, как убитый, но, как мне показалось, тут же проснулся. Не дожидаясь рассвета, нас подняли, и мы двинулись на передовую позицию. В этот ранний час в лесу было так тихо, словно и войны никакой нет. И мы двигались осторожно, чтобы не спугнуть эту тишину, стараясь не греметь ничем металлическим – винтовкой, штыком, лопаткой для рытья окопов, котелком. И следили, чтобы, боже упаси, никто не смел зажечь спичку, закурить. Благополучно, не наведя на себя внимание противника, мы добрались до начала хода, ведшего в окопы. А потом по нему гуськом достигли первой линии. Здесь мы сменили промерзших, давно дожидавшихся нас земляков, солдат того же нашего 91 полка. Они ушли в Такшань отдыхать. Смена происходила бесшумно, команды передавались шепотом, от человека к его соседу. Так и началась моя фронтовая жизнь.

Этот первый фронтовой день сохранился у меня в памяти. Окопы все в снегу были хоть и тесные, но глубокие. Они казались надежной защитой от пуль. Как положено, я проверил, как расставлены солдаты, знают ли, как себя вести. Затем побывал в укрытии командира нашего первого взвода лейтенанта Блака. Оно находилось тут же за окопом, соединялось с ним коротким ходом. В этом укрытии помещались и связисты. Было холодно, зябко, сыро,

но мороз пока был небольшой. Но вот, не успели появиться первые солнечные лучи – а этот зимний день выдался пригожим, на небе ни одной тучки – как началось. Все вокруг загудело, сотрясалось, над нашими головами стали проноситься снаряды. И откуда-то издали с противоположного хребта, поросшего такими же буковыми лесами, оттуда, где находились окопы русских, началась беспорядочная винтовочная стрельба. Иногда она сопровождалась стрекотанием пулемета. Пули, как правило, ударялись в высокую, достаточно мощную насыпь перед окопом, поднимали небольшие фонтанчики глины и снега, но вреда нам не причиняли.

Однако иногда шальная пуля все же рикошетом попадала и к нам в окоп. Были раненые и даже двое убитых. Вскоре мы все пропахли порохом, смрадом, тем «дымом сражения», который романтики столь часто и столь лживо опоэтизировали. К счастью за весь этот первый день не было ни одного попадания снарядов в наши окопы. Русская артиллерия почему-то недостреливала. Не стану скрывать, что я, как, вероятно, все мы необстрелянные, испытывал страх. Я «кланялся» перед каждой жужжавшей где-то пулей, и содрогался от завывания и взрыва шрапнели и гранат.

Казалось, что этому дню не будет конца. Но стемнело, повалил густой снег, и хотя перестрелка все еще продолжалась, наши полевые кухни храбро подвезли нам питание – хлеб, горячий жирный суп, сладкий черный «кофе» с несколькими каплями рома – и на душе стало как бы легче. А постепенно затихли и выстрелы. И тогда, наконец, свернувшись калачиком, тщательно закутавшись в наши не очень теплые синие шинели, мы заснули тревожным сном.

И так продолжалось не то неделю, не то десяток дней подряд. Вдобавок, в последние дни русская артиллерия, как видно, пристрелялась. Но как сказано в коране: «Куллу интагаи» – «Все проходит». Проходит не только хорошее, увы, слишком быстро, но и плохое, хотя, на беду, уж очень медленно. Прошла и эта маета. Нас сменили, и мы перебрались в Такшань, на пару-другую дней, чтобы отдохнуть, отоспаться, обогреться, а потом снова туда же, в наши окопы. В блаженной уверенности, что с утра отмоемся в полевой бане при санбате и что там произведут дезинфекцию нашего белья и мундира, я улегся спать на том же сеновале. Наконец-то, я даже смог разуться и отчасти раздеться. Ну и высплюсь же я!

Но не тут-то было! Правда, баню нам устроили, причем даже не назавтра, а этой же ночью, но совсем другую, чем мы ожидали. А от неразлучных спутниц войны, вшей, этих крохотных кровожадных бестий, которые, заражая нас сыпняком, пуще пуль и осколков, сеют смерть, на сей раз я так и не избавился. То исчезая по временам, то вновь появляясь, они мучили меня всю войну, и в плену, а затем снова решительно заявили о себе и в гражданскую войну.

Только что я успел зарыться с головой в вонючее, прогнившее сено, как вскочил, ошалелый. Кругом светло, как днем, стоит оглушительный грохот, снова и снова бабахают снаряды, слышны вопли, истошные крики, ржанье лошадей, гиканье. Хаты и сараи гуцулов пылают. И хотя мой сеновал пока цел, оставаться в нем нельзя. Хватаю винтовку и, кое-как спросонья напялив на себя вещи, выскакиваю наружу. Что тут творится! Настоящая классическая паника, массовый психоз, как он описан в учебниках психологии. Обезумевшие от страха люди знают только одно: спасти свою жизнь, бежать от огня, от этой пальбы. Организованность, разумный порядок, дисциплина – ничего этого нет и в помине, один только животный страх. Безумие одинаково охватило офицеров, как и солдат – бежать, бежать!

Неширокая дорога вилась по склону – справа над нами гора поднималась вверх, слева глубокий обрыв в долину. Смятение, давка, столкновения, ругань не прекращались. То и дело застревал какой-нибудь лафет, чуть ли не опрокидывалась повозка, спотыкалась лошадь, угрожая свалиться в пропасть. Вместе со здоровыми бежали легкораненые. Какой-то офицер, стегая направо и налево своим хлыстиком, пробивал себе дорогу. Были и такие господа, что угрожали пистолетом. И хотя снаряды не попадали на эту часть дороги, близкая канонада не стихала. Более того, где-то там начали строчить очереди «максима», русского пуле-

мета, особый звук которого мы уже научились различать. И все это в освещении зарева горящих Такшань. Что же случилось с остатком несчастных их жителей, с этими детишками, женщинами, стариками? Но не успел я подумать об этом, как все прекратилось – я потерял сознание.

От чего я очнулся – не знаю. Над собой увидел ясное зимнее небо, – серп луны, – снег блестел. Вокруг царила волшебная тишина. Я чувствовал себя хорошо, нигде ничего не болело. Но тут я вспомнил о только что пережитом кошмаре. Не сон ли мне приснился? Или я сплю теперь? Первое, чего я хватился, была моя винтовка. Ее нет со мной. Где же она? Я понял, что лежу навзничь в каком-то сугробе, хотел подняться, но не смог, почувствовал невыносимую боль в спине. «Что это, неужто ранило? Где я? И почему такая тишина? Я лежу здесь целые сутки, и весь этот хаос на дороге уже прошел? А, может быть, я уже по ту сторону фронта, и если ранен, то меня подберут не наши, а русские санитары?» Такие примерно мысли проносились у меня в голове, и причудливо смешивались с другими: «Недавно был мой день рождения, мама, наверно, всплакнула, вспомнив обо мне. А скоро рождество. Новый год – 1915-ый, – где я встречу его? А где встретят его те гуцулы, или нет, они ведь православные, он у них, кажется, в другое время…»

Насильно я отделался от этого бреда и, превозмогая боль, поднялся на четвереньки. И первое, что я к неописуемой радости увидел, была моя винтовка. Всего в каких-нибудь десяти шагах торчала она надо мной в снегу. Я попытался доползти до нее, но не смог. Туго стянутый поясом, ремнями, нагруженный «теленком», патронташами, я сразу же обессилел. Попытался расстегнуть все, сбросить с себя, но это не выходило. Тогда я догадался – вытащил из-за пояса штык – он имел у меня вид острого двустороннего ножа – и начал перерезать им ремни. Это было чертовски трудно, на это ушло немало времени. Наконец мне удалось добраться до винтовки. Используя ее как палку, я поднялся на ноги, и стал медленно карабкаться вверх, бродя в глубоком снегу, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть, туда, к роковой дороге. До нее оставалось двадцать метров, не меньше. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что на ней все то же безумное движение, продолжается то же паническое бегство. Только теперь все происходило беззвучно, как в кинематографе (тогда ведь все фильмы были немые). И тут только я догадался, что со мной случилось. Я оглох, меня оглушило взрывной волной, которая и сбросила меня под откос, благо в глубокий снег. И я, должно быть, контужен, возможно, поврежден позвоночник. Какая-нибудь заблудившаяся на дороге граната все это наделала. Вот откуда эта дикая боль в спине.

Я влился в этот поток, и опираясь на винтовку, ковылял дальше. Проезжала повозка с красным крестом, и я попросился подвезти меня. Сначала мне грубо отказали, но потом молодой врач сжалился и приказал меня посадить. Но тряска была ужасная, боль от нее нестерпимее, и я решил добраться до первого полевого госпиталя пешком. И добрался. Под самой горой была большая палатка, перевязочный пункт. Врач осмотрел меня. Никакого ранения или контузии позвоночника не оказалось. Зато были порваны мускулы на животе, который уже успел вздуться, как у беременной. Была поражена симпатическая нервная система, от этого резкие боли в спине. Мне сделали перевязку, туго забинтовали живот. Врач спросил, когда я в последний раз принимал пищу, и, узнав, что давно – ни перед отходом из окопов, ни после прибытия в Такшань нас не накормили – поздравил меня: «Ваше счастье. Иначе, с полным кишечником – верный перитонит и смерть. Не смейте ничего есть. Только пить можно». Мне предложили подвезти меня, но не лежа (мест не хватало для тяжело раненых) и, зная уже, что это значит, я отказался. С этим напутствием голодать, я поплелся дальше, к железной дороге, где меня должен был подобрать санитарный поезд.

До станции Шаторайяухей я добрался лишь на третьи сутки, в походе от одного медпункта к другому. Мне сменяли повязку, рана гноилась, а в двух лазаретах дали кое-как переспать ночь. Шел я, конечно, не один. Таких раненых и контуженных, которые могли пере-

двигаться самостоятельно, была целая ватага. Полевая жандармерия, эта гроза дезертиров, давно остановила бегство, но нас не трогала. Благоприятствовала погода – морозы были не сильные. И, хоть на последнем пределе своих сил, я поспел удачно на станцию: санитарный поезд словно дожидался, чтобы увезти меня.

Через пару часов нас выгрузили в Кошицах (тогда, по мадьярски, Каша) в громадном карантине. Выкупали в ванне (помню, как я неловко чувствовал себя голым перед молоденькими сестричками, хихикавшими и щебетавшими что-то на непонятном мадьярском языке – слух, к тому времени, ко мне уже успел вернуться). Меня одели в свежее белье, перевязали, напоили, и, – какое наслаждение! – уложили в настоящую белоснежную постель! Так меня там, в карантине, продержали четверо суток, перевязывали, но гноившийся живот не трогали. А потом уложили в санитарный поезд, чтобы, наконец, отправить в госпиталь, в тыл. В вагоне койки были размещены в два этажа, я лежал на верхнем, и через окошко, ранним утром, увидел в солнечном сиянии Татры. Это неожиданное, сказочное видение запомнилось мне на всю жизнь. Но куда нас везут? Все равно. Не до того теперь. В вагоне душно, пахнет йодоформом, гноем ран, стоит непрерывный стон. Я впадаю в забытье. Наконец, поезд останавливается прочно, нас перегружают в трамвай, превращенный в санитарный. Где же мы? Да ведь это Прага! И представьте, какая случайность – госпиталь находится в моей «реалке»!

Осмотревший меня старший врач, молодой доцент немецкого пражского университета, крепко ругал кошицких врачей, продержавших меня так долго без хирургического вмешательства. Он направил меня в операционную, которой оказался наш бывший рисовальный класс. Мне измерили температуру, она оказалась ниже 35, сделали местную анестезию уколом в спину, и я, лежа на операционном столе, дожидаясь своей очереди, хотя и очень ослабевший, но в полном сознании, наблюдал, как соседу, электрической пилой, отнимают ногу выше колена. Зрелище, несомненно поднимающее настроение. Но солдат не человек, он должен все выдержать. Оперировал меня тот же доцент, – щипчиками разнял рану, скребком вычистил ее, и затем, изнутри, скрепил связки тончайшей металлической пружинкой – все это быстро, с легкостью фокусника. На второй день мне удалось оповестить маму, и ей разрешили посетить меня. Она принесла мне всяких вкусных вещей, но мне по-прежнему ничего нельзя было есть (давали все в жидком виде), все это она раздала другим.

Я довольно быстро стал поправляться. Мой вздутый живот опал, рана перестала гноиться, силы возвращались. И отмороженная пятка, которую смазывали жутко вонючей мазью, зажила. Впрочем, это была всего-навсего отмороженность первой степени. Всерьез принималась во внимание лишь третья степень, когда уже начиналась гангрена. Но гной появился снова, живот снова пришлось вскрывать, снова скребли в нем – на этот раз было нестерпимо больно.

В госпитале я провел зимние праздники. Меня часто посещали родные, друзья, знакомые, приносили не только еду, но и интересные книжки. В целом я пролежал в госпитале недель шесть, после чего комиссия второй раз признала меня годным для фронта в качестве пушечного мяса.

Наш батальон и на этот раз направили на русский фронт, но уже не в Карпаты, а в западную Галицию. Я не помню, на какой станции мы покинули эшелон и начали свой поход. Львов был незадолго до нашего прибытия освобожден от занимавших его русских, и мы вошли в него без единого выстрела. Он произвел на меня впечатление прекрасно сохранившегося, почти не пострадавшего города, в котором жизнь кипела вовсю. Были даже открыты шикарные кафе. Но во Львове я успел лишь осмотреть несколько красивых церквей. Происходило успешное совместное наступление австро-венгерской и германской армий. Первой задачей было изгнать русских из Галиции и Буковины, а затем вторгнуться в Россию.

Из Львова мы прошли около 200 км, преследуя отступающую русскую армию. Это был очень изнурительный поход, хотя он происходил преимущественно без серьезных боев. Большое сражение, в котором наш батальон принял участие, состоялось лишь при форсировании реки Западный Буг в районе города Сокаль. Мы залегли на ее западном берегу в выкопанных на скорую руку траншеях, дожидаясь, пока наша артиллерия не разгромит позиции противника. В течение многих часов, показавшихся мне вечностью, барабанный огонь, сосредоточенных на малом участке большого количества тяжелых батарей, производил через нашу голову эту дьявольскую музыку, не оставив на том берегу ни одной пяди нетронутой. Конечно, все это была лишь детская игра по сравнению с тем, что творилось, в особенности благодаря авиации, во Вторую мировую войну, и что творится ныне, благодаря напалму и ракетам во Вьетнаме, где происходит репетиция третьей. Но таков уж прогресс человечества, вошедшего благополучно в период научно-технической революции…

Переправившись на другой берег Буга, мы вошли в город Сокаль, но увидели только догоравшие развалины, среди которых и двигаться было опасно. А от русских окопов осталось лишь одно крошево. Везде трупы людей и лошадей, брошенное искореженное снаряжение. Из остального нашего похода, продолжавшегося более двух месяцев, – июнь, июль и часть августа, – у меня запечатлелось лишь несколько картин, вроде кадров из какого-то захватывающего фильма.

Вот наш батальон движется по дороге широкой равниной в солнечный летний день. Никакой стрельбы не слышно. И вдруг вдали отчетливо виден кавалерийский разъезд. «Это казаки, они с пиками!», раздаются в наших рядах панические крики. И, не получив приказа, наши «храбрые» солдаты начинают беспорядочно стрелять, причем не так, как их учили (надо стрелять по кавалерии, став на одно колено), а стоя. Вот вам иллюстрация «воинствующего духа нашей доблестной армии».

Мы уже перешли государственную границу, вошли в Россию, на Волынь, отчего ни вид ландшафта, ни убогих селений не изменился. Но вот мы проходим через какую-то совершенно уцелевшую деревню, из которой, однако, ушли все ее жители. Но все ли? На деревенской площади мы встречаемся с тремя из них: на деревьях висят два длиннобородых еврея в кафтанах и ермолках, и, так сказать для равновесия, один длинноволосый русский поп в рясе. Жуткое зрелище. Кто их повесил? «Наши» или русские? И за что? Ясно, за «шпионаж», за что иначе здесь вешают. И некоторые «наши» офицеры фотографируют этот «вид» на память.

Но не все селения на Волыни представляли столь мрачную картину. Вот одно богатое – оказывается, здесь живут чешские колонисты, переселившиеся сюда еще во времена Екатерины. Оно лежит в стороне от главного пути продвижения воюющих армий, многие его жители остались на месте, не бежали. Даже скот у них частично уцелел, не весь был реквизирован ни отступавшими, ни наступавшими. Слыша нашу чешскую речь, сердобольные крестьянки угощают нас молоком, но «наши» офицеры не дают нам постоять здесь. На отдых мы останавливаемся в поле, оставив это селение далеко позади. И тут Ласло, шустрый веселый цыган (их было двое в нашем взводе; пожилой Янко был угрюмый), приносит мне жареную гусиную ножку, приговаривая по-словацки; «Нэх ся пачи, пан офицер!» («Пусть вам нравится, господин офицер»). Я отказываюсь, хотя слюнки текут, и дознаюсь, откуда это у него. Но на мои приставания он отвечает только одно, по-мадьярски: «Nemptudum» («Не понимаю!»). Ясно, что этого гуся он «реквизировал» еще там, в колонии чехов, а здесь его, по цыганскому способу, зарезал, ощипал, выпотрошил, обмазал илом и испек в выкопанной в земле ямке. Глиняный панцирь отвалился с гуся вместе с остатками перьев, и все соки, весь жир гуся сохранились, войдя внутрь. Ничего не поделаешь, пришлось и мне полакомиться этим краденым гусем.

Но был и такой случай, о котором можно сказать, что я находился точно на два дециметра от смерти. Мы только что кончили наш привал, как получили приказ развернуться цепью. Это значило, двигаться примерно на расстоянии полутора метров друг от друга. Значит, неприятельский арьергард где-то поблизости, собирается задержать нас, дело идет к бою. И действительно, едва я так подумал, как русские трехдюймовки начали обстреливать нас. Мы залегли и стали спешно копать укрытия. Но почва оказалась очень твердой, и я успел лишь насыпать перед головой небольшой холмик. И вдруг грохот, свист, и я вижу – именно на расстоянии двух дециметров, не больше, – перед моим носом зарылся ярко блестевший на солнце, скрученный спиралью, весь в острых зазубринах, алюминиевый осколок шрапнельной гильзы.

Но как ни странно, я продолжал машинально рыть лопатой землю. Я выждал, пока раскаленный осколок остыл, а потом спрятал его в «теленка» на память. А сейчас думаю, что не будь этих двух дециметров, не было бы не только этих записок, но и детей и внуков, кому они предназначены. А после этого все еще находятся чудаки, придерживающиеся метафизического детерминизма, недооценивающие роль случая. Как-никак только благодаря случаю, я остался жив, и только случайно ранило тогда же Блака, его отправили в тыл, и ротный командир приказал мне взять на себя командование нашим взводом.

Все это произошло на подходах к реке Икве, вблизи города Дубно, на запад от него. И где-то в тех же местах случилась радостная неожиданная встреча, последнее событие перед окончанием этого наступления. На одном из привалов я уселся отдохнуть на меже. И вдруг кто-то, подкравшись сзади, закрывает мне ладонью глаза и спрашивает: «Кольман, угадай, кто это?», совсем по-детски. Этим кто-то оказался никто другой, как Ладислав Кожешник, тот же милый Ладя, с которым мы вместе, в течении семи лет просиживали штаны в нашей «реалке», а затем еще два года в «технике», на машиностроительном факультете, тот же Ладя, который привел меня на вечер свободомыслящих, где я познакомился с Пиком, первым социал-демократом.

Но теперь Кожешник был одет во все еще щеголеватую, хотя уже потрепанную форму младшего артиллерийского офицера. Его батарея стояла тут же посреди некошеного овсяного поля. До чего мы оба обрадовались! Эта встреча словно вернула нам на время те прошлые годы, показавшиеся теперь такими счастливыми. Перебивая друг друга, мы спешили вспомнить веселые эпизоды школьной жизни, вспоминали товарищей, учителей, даже самых нелюбимых, и Прагу, ее сады, в которых мы перед экзаменами, зубрили, купальни на Влтаве, в Подоли, трактирчик рядом, где наслаждались жареными «грундлями» (так в народе называли мелкую рыбешку вьюна) и, конечно, кружкой холодного темного пива. Ладя позвал своего денщика и тот принес банку сгущенного сладкого молока, белые сухари и фляжку рома – все это из офицерского «железного рациона», который без особого приказа трогать не дозволялось. Но мы не оставили, кроме пустой посуды, ни следа.

Началась осень с туманами по утрам и вечерам, с холодными пронизывающими ветрами. В землянки привезли жестяные печурки, выдали одеяла – на двух человек по одному – хотя и тонкие, чуть ли не прозрачные, но все-таки забота!

И обещали, что мы не будем здесь торчать все время, иногда нас будут сменять, мы сможем отогреваться в тылу. Ведь теперь призрак надвигавшейся зимы больше всего пугал нас. И вот, это произошло в середине сентября – точную дату этого, столь знаменательного в моей жизни события я не помню – ночью я проснулся, разбуженный треском пулеметов, который слышался где-то далеко слева, но почему-то казалось позади нас.

Я немедленно велел телефонисту запросить батальон что это, собственно, происходит, но он не смог дозвониться. Аппарат не работал, связь прервалась. Но пока он безуспешно пытался наладить ее, стрельба так же внезапно прекратилась, как и началась. Тем не менее, не дожидаясь рассвета, я приказал связистам поискать повреждение кабеля. И выслал связ-

ного с письменным запросом в батальон. Но как связисты, так и связной что-то долго не возвращались.

Наступило утро. И тут перед нами и позади нас, в белом тумане, появились, словно привидения, казавшиеся исполинами, фигуры русских солдат с винтовками наперевес, кричавшие: «Выходи, пан, выходи!» Значит, мы окружены, мы в плену.

Попали в плен

Оторопевшие, мы карабкаемся из окопов, бросаем свои винтовки. Как же это могло случиться? Оказывается, перед нами Первый волынский полк. Местные люди, знающие здесь каждую тропинку, прекрасно прошли через эти «непроходимые» болота. Весь наш 91 полк, вместе со штабом, всего свыше пяти тысяч человек, взяты в плен. Эти русские кажутся мне великанами. Теперь они снимают с нас все: патронташи, штыки, «теленка», пояс, а у некоторых даже ботинки. Отбирают часы, кошельки, а у кого есть, кольца. И никто не смеет протестовать, боясь, как бы не избили, а то и не убили. А потом нас гонят по тому же болоту, отдельно офицеров, отдельно солдат, нескончаемыми вереницами, все дальше и дальше. И так начинается наш путь, теперь уже во всамделешную царскую Россию.

Трудно передать, какие чувства обуревали меня тогда в эти минуты. Конечно, встреча, которой мы здесь удостоились, не предвещала ничего утешительного. Но все же в плену шансы спасти свою жизнь были намного выше, чем на фронте. Зато я теперь отрезан от своих на всю войну, и кто знает, сколько еще времени она продлится. И кто знает, можно ли будет послать хоть весточку в Прагу, дойдет ли она. Ведь и с фронта и на фронт письма шли мучительно медленно, проходя через военную цензуру (примерно как теперь, когда авиаписьмо из Москвы в Прагу или обратно, вследствие незаконной цензуры, идет две недели!) И что вообще представляет собой эта Россия? Загадочная страна, полная противоречий, давшая Пушкина, Достоевского, Толстого, Менделеева, Лобачевского, Чебышева, но также и сибирскую каторгу, зверские еврейские погромы, нищету, неграмотность, дикость мужицкой деревни. Да, это совсем другой свет, чем тот наш, среднеевропейский, с другими, иначе мыслящими и чувствующими людьми, с другими обычаями жизни, с другой, какой-то нам непонятной, полуазиатской культурой, с другой речью, и даже незнакомым мне шрифтом – как я со всем этим освоюсь?

Но эти смутные размышления жизнь начала тут же конкретизировать и вносить в них свои коррективы. Не успели мы как следует выбраться из болота и пройти не больше двух километров – к этому времени туман уже рассеялся – как загрохотали наши тяжелые пушки, и вскоре их снаряды стали аккуратно ложиться прямо на наши колонны, раня и убивая без разбора вооруженных русских и невооруженных пленных австрийцев. «Ложись!», закричали русские, и мы легли, что, конечно, сделали бы и тогда, если бы, – как, впрочем, почти все, понимающие только соответствующее ей немецкое «Nieder!» – и не поняли этой команды, ни сопровождавших ее ругательств с обильным упоминанием матери. Русская артиллерия начала отвечать, завязался продолжительный поединок, который, однако, все-таки прекратился, и нас погнали дальше. Поздним вечером, разбитые не столько походом, сколько пережитым, голодные мы добрались до окраины какого-то города, – это было Ровно. И здесь нас загнали в огромный двор, обнесенный высокими стенами со сторожевыми вышками, и в нем мы вповалку заночевали. Оказывается, мы находились в тюрьме.

Утром, с криками «Вставай!», «Становись» (все это было вместе с матерщиной, первые наши уроки русского языка), нас растолкал новый конвой – это были донские казаки, чубастые, с красными лампасами – и русские военные писаря стали составлять наши именные списки. Делали они это так. У каждого из нас висела на шее ладанка – капсула с вложенной в нее казенной бумажкой, указывавшей фамилию, имя, год и место рождения, родной язык и вероисповедание, – для опознания убитого или раненого. С нее писарь и заносил эти сведения в свой список. Так как все эти данные были на немецком языке, то в списке я оказался Эрнестом, – так он записал вместо Эрнст – и таким уже остался и впредь. После переписи состоялась кормежка, но она происходила как скачки с препятствиями. Каждому выдали буханку черного хлеба весом в целый фунт (400 г), а на десять человек большую

жестяную лохань с двумя ручками (как я узнал потом, такие миски зовут «шайками», и в них стирают белье и моются в бане), до краев полную горячих щей. Хлеб – это хорошо, даже слишком; мы прежде не съедали его в таких количествах. Но как же нам есть этот «капустный суп»? Мы не привыкли есть из одной посуды, брезгуем, боимся заразиться. Ведь среди этой случайно образовавшейся десятки может оказаться кто-нибудь больной. Да и чем есть? Ложек ведь у нас нет, наши металлические, складные, вместе с вилкой и ножом, отобрали у нас с «телятами». Посредством наших «русинов» и международного «эсперанто» – языка жестов – объясняем это казакам. Их реагирование было неожиданным: всеобщий безудержный хохот. После некоторого замешательства, нам одалживают, а то и дарят деревянные ложки не первой свежести. Мне достается сильно зазубренная, лишь со следами шелушащегося золотистого лака-глазури, но с красиво выточенным изящным черенком.

Преодолев брезгливость – голод не тетка! – мы дружно, стараясь не обидеть друг друга, выхлебали это непривычное во всех отношениях угощение. Нам наполнили нашу шайку какой-то никогда не виданной черной кашей. Это была гречневая каша. Хотя я сначала испугался было ее необыкновенного вида, она мне очень понравилась, несмотря на то, что была сдобрена несколькими ложками горчившего топленого масла.

Но эту кашу мы так и не успели доесть. Над нами появились два самолета, германские «ТаиЬе», то есть «голуби», единственная авиация, которую мне пришлось увидеть в эту войну. Но они прилетели не с оливковой веткой. Покружившись немного на сравнительно небольшой высоте, не обращая внимания на стрельбу, которую из своих карабинов подняли казаки, эти «голуби» сбросили две бомбы, одна из которых попала в угол тюремного двора, убив и ранив несколько человек из пленных и конвоя, а также привязанных там лошадей. Нас поскорее погнали дальше.

Из Ровно, через Новгород-Волынский и Житомир, нас гнали на Киев. Это расстояние, свыше, примерно, 300 км, мы прошли чуть ли не за целый месяц, делая в день не более 15 км. Двигались мы нестройной толпой, погоняемые едущими верхом казаками, их гиканьем, криком и бранью, но и нагайками. Погода стояла отвратительная, осенняя, часто хлестал дождь, ветер так и свистел. Неудивительно, что многие из нас – а немало шагали босиком – не выдерживали, сильно простуживались, не были в состоянии двигаться дальше. Основательно убедившись, что такие свалившиеся на дороге солдаты не симулируют, их подбирали и везли на телеге, вповалку, дальше.

Когда мы проходили через какую-нибудь деревню, ее жители, почти одни женщины, старики и дети, непременно выскакивали из своих хат, чтобы поглядеть на нас. Наш конвой не подпускал их близко, но, скорее перед своим начальством, делал вид, что отгоняет их. Немало женщин причитало – должно быть, вспоминали своих мужей, братьев, женихов, которых, возможно также гонят, как скот, где-то в германском или в австрийском плену. И, бывало, рискуя, что ей съездят плетью по спине, какая-нибудь женщина выносила бредущим в толпе солдатикам какую-то снедь. Но был и такой случай. В одной из деревень, выбежавшие женщины, с криком «Германцы!» пытались срывать с нас кепи, чтобы посмотреть наши… рога! Оказывается, на русских агитационных лубочных картинках германских солдат изображали с рогами! Подобные методы военной пропаганды стали в наше время «мирного сосуществования» повсюду всеобщими.

На этом не столь длинном, сколь продолжительном пути, я выучился русской печатной азбуке по вывескам. Мне помогло в этом знание греческого алфавита, часть букв которого совпадает с русскими, а также подсказки одного пленного, вольноопределяющегося «русина», с которым я познакомился. Он оказался большим националистом и мечтал о «вильном» украинском народе, свободном как от австрийского и польского, так и от русского гнета. Он читал мне по памяти стихи Шевченко, хотя тогда я плохо понимал их, говорил о

том, что надо создавать украинские части, которые завоюют своему народу свободу, о чем грезил великий поэт.

Шел уже октябрь, но когда мы подходили к Киеву, погода внезапно улучшилась, потеплело, дожди и ветер прекратились. Помню, как, когда я проходил мимо какой-то красивой дачи, оттуда, просунув руку сквозь узорную чугунную решетку сада, девочка лет восьми протянула мне кусок уже надкушенной белой булки со словами: «На, австрияк!» И я, как нищий, с радостью взял ее.

И помню, как сейчас, Дарницкий лагерь. Громадная площадь, обнесенная высоким забором с колючей проволокой, сторожевые башни, ряды длинных, двухэтажных деревянных бараков, но больше всего людей – пленных австрийцев, германцев – ими кишмя кишит все это пространство. Первое, что я вижу, когда мы входим сюда, это столярная мастерская, прямо у входа. В ней пленные сколачивают гробы для своих умерших в лагере товарищей. А они умирают ежечасно, их косит неиствующий здесь тиф. И не мудрено. Бараки донельзя переполнены, сотни пленных многие сутки ночуют на открытом воздухе, а с фронта то и дело прибывают новые и новые пополнения. Хаос, царящий в этом пересыльном лагере, невероятный. Охрана – те же донские казаки – явно не в состоянии справиться со своей задачей. Во время раздачи пищи, происходящей под навесом перед кухней, происходит свалка, драки. Многим по кулачному праву удается получить по две порции, а слабые остаются без еды.

Наш свежеприбывший транспорт сначала держали отдельно. Как всегда и везде, сперва начали пересчитывать нас, но потом, вместо всегдашней команды «Разойдись!», офицер в австрийской форме майора стал выкликать фамилии тех из нас, у кого в списке, как родной язык, был указан чешский или словацкий. Таких оказалось сотни четыре, а то и больше. Нам велели остаться, а остальных отогнали.

И офицер, у которого вместо букв Р.Г. на кепи оказалась красно-белая ленточка чешского знамени, обратился к нам с речью. Она состояла из двух частей – духовной и материальной. В первой, очень растянутой, на напыщенном, высокопарном, ходульном языке дешевых газетных статеек говорилось о патриотизме, о любви к родине, упоминалось великое гуситское движение, прошлое чешского народа, долг каждого его сына сражаться против ненавистного австро-германского ига, утверждалось, что поражение Австро-Венгрии, ее крушение, наступит еще до конца этого, 1915, года. Вторая часть была значительно короче и весьма деловая. В ней всякому, кто сейчас запишется в чехословацкую часть, формирующуюся под покровительством великого славянского союзника РОССИИ, он обещал выдачу нового обмундирования, хорошее питание и жалование, немедленное повышение в чине (вольноопределяющимся – офицерское звание), а после победного возвращения на родину, в уже свободную, самостоятельную Чехословакию, – обязательное обеспечение работой по профессии и пенсией. Да, была, пожалуй, еще и третья часть этой речи, самая короткая: запись в чехословацкую часть, конечно, добровольная, но тот, кто станет отказываться – изменник родины, выродок, изверг, которого вы сами, братья, – так он назвал нас, – надеюсь, возьмете как следует в оборот.

Запись добровольцев производилась тут же рядом, в пустовавшем бараке. Впускали нас туда поодиночке. Желающих, как среди солдат и нижних чинов, так и среди офицеров, было много, – трудно сказать, какая часть прослушанной ими речи повлияла на них больше всего. Но были и такие, кто заявляли, что они еще не решили, как им быть, должно быть, одним просто не хотелось снова попасть на фронт, другие боялись, что из-за их поступка пострадает дома семья, а третьи не желали добровольно воевать по принципиальным соображениям. Их коротко увещевали, но если отказывающийся был рядовым солдатом или даже унтером, то его отпускали с богом, советуя одуматься. А нас, нескольких отказавшихся офицеров и вольноопределяющихся, оставили в бараке, во второй его половине. Потом этих офицеров куда-то отвели, а нас – человек 15 – здесь заперли. Что теперь с нами сде-

лают? Один, оказавшийся инженером из Карлина и очень напоминавший мне моего приятеля Крупского, твердил с подлинным юмором висельника: «Раз этот брат-майор столь красочно говорил о демократии, то нас ни в коем случае не повесят, а только расстреляют».

Однако, как вы видите, не произошло ни то, ни другое, возможно, по какой-то ошибке. Под вечер вышли двое казаков и не говоря ни слова выпустили нас, и мы растворились в общей толпе. Нет, оставаться здесь, это смерть не менее верная, чем виселица и расстрел, – и я решился на дерзкий, отчаянный шаг. Мимо проходил какой-то важный русский чин в золотых погонах. Я подошел, стал во фронт, отдал честь, и обратился к нему по-французски, зная из русской художественной литературы, что офицеры здесь говорят по-французски. Я сказал, что нас тут полтора десятка человек с высшим образованием, и мы просим, чтобы он велел отправить нас с ближайшим маршрутом в нормальный лагерь военнопленных. Выслушав меня, офицер ничего не ответил, но подозвал старшину, приказал ему что-то, и пошел дальше, так что я не успел даже поблагодарить его. И всю нашу группу немедленно посадили в теплушку, уже порядком набитую другими, поезд стоял под парами совсем недалеко, – и через пару-другую часов мы тронулись куда-то вглубь этой необъятной страны.

Нас везут в Сибирь

В теплушке, где нам отвели место на нарах, – кому на нижних, кому на верхних, – стояла посередине чугунная печка, всегда докрасна раскаленная, и имелся громадный жестяной чайник цилиндрической формы, который мы при всех подходящих случаях старались пополнить кипятком. Понятия «кипятка», равно как и «бака» для него, были для меня диковинными, одинаково странными, как и то, что наши новые конвойные, едущие в теплушке с нами, без передышки пили чай «в прикуску», причем непременно горячий, из блюдец, дуя на него. Это были двое «ратников второго разряда» – уже пожилые бородачи, с винтовками, к которым они относились с явной опаской, в шапках, на которых вместо кокарды, как у строевых солдат, виднелся большой крест с надписью: «За царя, веру и отечество». Они рассказывали нам, что едем мы в Сибирь, а куда именно, они и сами не знали. «Значит, в Сибирь…» Само это слово страшило, пугало нас, вызывало представление невыносимого холода, пустых, незаселенных пространств, волков и медведей, нехоженых просторов тайги и тундры, простиравшихся до самого Ледовитого океана, жутких каторжных рудников, работ в кандалах. Такой воображали себе тогда у нас в Европе Сибирь.

Продвигались мы вперед крайне медленно. Поезд шел вне всякого расписания, пропуская многочисленные другие составы, идущие то с новым пополнением на запад, то с ранеными на восток. То он еле полз, то наоборот пускался вскачь, то подолгу стоял на какой-нибудь станции, или простаивал много часов на запасных путях. Но, в конце концов, нам-то что, нам нечего спешить в эту Сибирь! Правда, в теплушке у нас душно, тесно, вонь, но зато тепло, никто нас не беспокоит, наши конвоиры добродушны, уже свыклись с нами и кормят нас исправно, три раза в день. Утром и вечером чай, который сами завариваем (некоторые уже успели приобрести жестяные самодельные кружки). Чай кирпичный, прессованные черные таблетки, производят их из отходов чайного листа; он твердый, его нужно крошить ножом, выдают его порциями на человека. И три куска сахара на день. В обед либо щи, либо суп, из мелкой рыбки, хамсы, и каша гречневая или просяная, с ложкой-другой топленого масла – всего этого полная лохань на 10 человек. И, конечно, фунтовая буханка черного хлеба. А два раза в неделю даже мясо – небольшой его кусочек нанизан на деревянную щепку – это каждому такая порция. Одним словом, жить можно.

Пока мы так ехали, наступила настоящая русская зима, снег шел все чаще и гуще, и наконец покрыл весь пейзаж вокруг. Из нашей теплушки мы то и дело видели сани. Запомнил я такую станцию, с нерусским, татарским или еще каким-то названием Инза.

Однако до внушающей страх Сибири я на сей раз так и не доехал. Из теплушки меня выгрузили уже в Самаре, нынешнем Куйбышеве. Дело в том, что снова начала гноиться рана в животе, колющие боли в спине усилились, я ослабел настолько, что не мог двигаться, встать и дойти до ведра.

И вот я в военном лазарете, где раненые русские и военнопленные вперемешку. За все время, которое я там пролежал, примерно недель шесть, только раза три или четыре сделали мне перевязку с каким-то антисептическим веществом, а в остальном не обращали на меня ни малейшего внимания. Нужно, однако, быть справедливым, «забота» медицинского персонала – врачей, фельдшеров и сестер милосердия – была в этом лазарете одинакова как по отношению к русским солдатам, так и к австрийским и германским. В общем же, каковы там были «порядки», видно из того, что в одной и той же палате лежали заразные больные вместе с незаразными. Так, через одну койку от меня лежал русский солдат, болевший рожей. Я находился на втором этаже и первое время не мог спускаться вниз, где происходила раздача пищи. Не окажись среди нас добросердечных товарищей, то такие как я были бы обречены на голодную смерть.

Чем же занималось тогда врачебное начальство этого лазарета? Устраивало оргии, пьянствовало, развратничало. Оказывается, этот лазарет находился под патронажем одной из особ царствующей семьи. В нем собрались разные протеже – уклоняющиеся от фронта врачи и «сестрички», а также офицеры – «пациенты». Все они сплошь принадлежали к аристократии и прочей знати. Вот эти «патриоты» так и коротали время здесь. И это в то время, когда на фронте от Балтийского до Черного моря ежедневно сотни и тысячи русских солдат проливали свою кровь за таких вот господ.

Как уже повсюду во время войны заведено, в лазарете периодически появлялась комиссия, которая выписывала выздоровевших (или якобы выздоровевших) русских солдат в свои части, откуда их вскоре снова направляли на фронт, а нас, военнопленных, в лагеря. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как в лазарете готовились к приходу этой комиссии, точь-в-точь как в «Ревизоре», – эту постановку я видел у нас в Праге – и я с каким-то внутренним удовлетворением отметил, что эта русская комиссия, которую возглавлял какой-то генерал, ведет себя также, как вела себя австрийская – не прошла, а пролетела через нашу палату, выписав не меньше, чем три ее четверти, в здоровые, в том числе и меня.

В то время русские люди, хотя и не закрывали глаза на вопиющие пороки своего общества – продажность и распутство властей, взяточничество, произвол – в подавляющем большинстве в 1915–1916 годах, считали их только грязными, легко выводимыми пятнами на поверхности существующего строя, не сознавая, что он прогнил насквозь. Так и ныне, советские люди, почти без исключения, полагают, что сталинизм (со Сталиным и без него) – нечто вроде легкого заболевания (насморка, как когда-то выразился Гомулка). Они не замечают, что тут раковая опухоль, что они живут в тоталитарном государстве, которое как небо от земли отличается от того социализма, за который мы боролись.

Стало быть, я в лагере. Он помещается в небольшом школьном здании, на городской окраине. В классах вместо парт нары, как и везде в два яруса, но это не просто горизонтальные доски, а с косым изголовьем, для каждого. Когда положишь туда свое кепи, то получается суррогат подушки. Тюфяков и одеял «пока» нет, но их нам обещают выдать.

Здесь, как и потом повсюду, нас караулили пожилые ратники, но в данном случае это были не русские, а татары, а, возможно, и башкиры с жиденькими бородками. Они были мусульмане, с чем никак не вязались эти большие кресты на их шапках. Были по-детски наивны и, как правило, благожелательны к нам, очень тяготились военной службой и разлукой с семьей, и у меня с ними вскоре сложились более чем хорошие отношения, причем на самой неожиданной почве. Из своей деревни они получали письма, которые там, по просьбе домашних, писал мулла. Они были написаны арабским шрифтом, который тогда лежал в основе письменности всех мусульманских народностей России. (Позднее, самодурством Сталина, этого грузина, строившего из себя русского в большей степени, чем сами русские, всем им была навязана русская азбука, чем была прервана их вековая связь с арабоязычной культурой; однако грузинам и, заодно, и армянам, а также прибалтийцам, Сталин все же милостиво оставил их алфавиты). Но бедные ратники, сплошь неграмотные, не только на русском языке (который они, вообще, знали немного лучше, чем мы), но и на своем родном, прочитать эти письма не могли.

И вот я, хотя и не понимал ни слова по-татарски, но знал арабский шрифт, увидев, как один из них вертит беспомощно в руках полученное письмо, попытался прочитать эту весточку. И, к моему удивлению, опыт удался, он понял! Его восхищению не было конца. Он созвал своих товарищей, те окружили меня, хлопали по плечу, восторгались мной. И с тех пор я стал в лагере persona grata, ко мне относились с уважением, чтобы не сказать с благоговением, я пользовался всяческими привилегиями: при раздаче пищи мне совали лишние куски сахара, и на мою десятку доставалась добавочная шайка каши.

Однако эти мои лингвистические успехи легко могли обернуться против меня. Мои клиенты стали требовать, чтобы я не только прочитывал им полученные ими письма, но и писал за них ответы. И сколько я ни толковал им, что я этого не умею, ничего не помогало. Они не верили. Тогда, поднаторев на прочитанных письмах, обнаглев, подражая их фонетической орфографии, я стал под диктовку выводить арабские письмена, стараясь, как мог, уловить звуки. Так я написал три или четыре таких послания, но к счастью, так и не узнал, были ли они на месте расшифрованы, так как попал в очередной, ушедший из Самары, транспорт.

Раздача пищи происходила раз в день, к полудню, когда мы получали не только обед, но и весь суточный паек – хлеб, чай и сахар – причем в управлении воинского начальника. Оно находилось в другом конце города. Поэтому мы ежедневно шагали в своей неприспособленной к русской зиме одежде и обуви, в не очень стройном строю, через всю Самару.

Эти прогулки по Самаре были крайне интересны. Ведь тут встречались, и прямо на улицах, а не в зоопарке, верблюды, одно- и двугорбые. Раньше я всегда представлял их себе в зное Сахары, а здесь они важно вышагивали, покрытые инеем. И какие только этнографические типы ни встречались тут! Монгольские, монголоподобные азиатские лица и костюмы мужчин и женщин. Поражали громадные мохнатые шапки, широкие разноцветные кушаки, но в особенности войлочные валяные высокие до пояса сапоги – валенки, коричневые, черные, а иногда и белые с цветными узорами. Все это были жители Поволжья.

Уже начинался 1916 год, и кончалась зима, первая наша зима в России, последняя ли? Когда же кончится эта проклятая война, конца-края ей не видно, а с ней и наш плен, когда же мы вернемся домой? Да мы, собственно, даже не знаем, что творится там, на фронтах. Откуда нам знать? В лагере газет нет, а у нас ведь ни одной копейки, чтобы купить их. Лишь изредка мне удается, когда прохожу мимо киоска, прочитать одним глазом какой-нибудь крупный заголовок в русской газете, вроде: «Германский цеппелин бомбит Париж!», и сделать отсюда вывод, что немцам не удалось победить на Марне и взять французскую столицу. Таким путем мы получаем хотя бы какие-то отрывочные сведения.

Из лагеря в лагерь

С самарским лагерем я расстался без сожаления. Там я подружился лишь с одним человеком, вольноопределяющимся Бруно Цукерманом, родом из Хеба в западной Чехии, который, как и я, попал в транспорт. Значит, снова теплушка, снова путешествие в неизвестном направлении, возможно, на этот раз я все-таки попаду в Сибирь. Но нет, мы едем недолго, всего трое-четверо суток, и не на восток, а все на юг, и нас выгружают в Царицыне (город, который переименовали сначала в Сталинград, а потом в Волгоград). Здесь, по недоразумению, меня, как и всех вольно-определяющихся, помещают не в солдатский, а в офицерский лагерь.

Он тоже в школьном здании, расположенном на склоне над Волгой, которой, однако, от нас не видно. Господам офицерам в плену живется недурно. Они получают месячное жалованье, 50 рублей, сами столуются на эти деньги, им готовят собственные повара, обслуживают их денщики. Обстановка в лагере весьма приличная, – не нары, а топчаны, соломенные тюфяки и подушки, простыни и одеяла. Шведский Красный крест усердно заботится о пленных офицерах, посылает им белье, продовольствие, курево, книги. У них здесь имеется небольшая библиотека, – в большинстве немецкие, а также несколько русских, французских, английских романов, но и несколько научных книг, из которых одна математическая по абстрактной алгебре. Но есть и Библия – Ветхий и Новый завет – на древнееврейском, издание British Bible Society.

Пополнение нашей небольшой горсткой не причинило никаких неудобств обитателям лагеря. Им не пришлось ни потесниться, ни делиться с нами питанием. Тем не менее, они, за исключением немногих, встретили нас неприязненно, а то и прямо враждебно. С наибольшей спесью отнеслись к нам даже не кадровые и высшие офицеры, а лишь недавно вылупившиеся из таких же вольноопределяющихся как мы, кадеты. Всех шокировал, конечно, наш вид – мы были небритые, заросшие густой щетиной, нестриженые, в грязных, потерявших всякий вид, мундирах. Но и когда мы постриглись и побрились, и кое-как привели свою одежду в порядок, и когда выяснилось, что мы как-никак цивилизованные люди, кастовая преграда этим не устранилась.

Не знаю, как в других местах, но здесь, в училище имени Чехова, жили эти офицеры в общем недружно, гораздо более вразброд, чем пленные в солдатских лагерях. Основная стена разделяла кадровых, профессиональных вояк от офицеров запаса, этих штатских штафирок. Затем существовала преграда между германским и австро-венгерским офицерьем. Но национальные водоразделы были также сильно ощутимы: пруссаки (из юнкеров) и баварцы относились свысока к саксонским и прирейнским германцам, австрийские немцы не очень ладили с поляками, а в особенности – с мадьярами. Все было достаточно обнажено, не требовалось большой наблюдательности, чтобы заметить это. В отличие от солдатских лагерей, где все было просто, здесь господствовал дух чинопочитания, строгого соблюдения рангов. И не успели мы попасть сюда, как какая-то добрая душа доверительно предупредила нас быть осторожными, тут имеются лица, которые тайно ведут «кондуит» – запись поведения, а главное политических настроений каждого, с тем, чтобы по возвращении на родину донести обо всем властям. Да, «стукачи» существовали везде и во все времена.

Тогда там, в Царицыне, мы втроем – Цукерман, Натан Фельзенбах (другой вольноопределяющийся) и я, без конца обсуждали военное положение, строили догадки о глубоких причинах войны, а главное – о ее окончании и последствиях. Здесь мы каждый день узнавали последние новости, конечно, в освещении русских газет, столь же одностороннем, лживом, как и в австрийских и германских, во французских или английских легальных газетах. А о существовании нелегальной прессы мы тогда и понятия не имели.

Я все-таки не забывал о своем не слишком крепком социализме и марксизме, развивал мысль, взятую на прокат у Штрассера, что национальное освобождение должно совпадать с социальным. А в полемике с Натаном я ссылался на библейское изречение «Сион будет освобожден правосудием и достигнет равноправия справедливостью». Но толковал его почти по-толстовски: средствами насилия нельзя добиться свободы, они непременно приводят к новому насилию, к порабощению.

Наша тройка в Царицыне оставалась недолго. Ее, как и всех вольноопределяющихся неофицеров, отправили отсюда с первым же транспортом. Этого добились у русского командования некоторые из «наших» пленных офицеров, возмущенные подобным нарушением священных кастовых законов. И вот мы поехали, но не поездом. Вскоре после открытия навигации по Волге, когда в нашем лагере слышались заманчивые гудки пароходов, нас вместе с конвоем погрузили на один из них – конечно, не в первый класс, а в трюм, и повезли «вниз по матушке, по Волге». Пароход был большой, вместительный, веселый, нарядный. Пароходное общество, которому он принадлежал, называлось «Самолет». Настроение у нас было, как и положено у «туристов», весеннее, приподнятое. Конвоиры – астраханские казаки с желтыми лампасами – относились к нам либерально.

Народ ехал самый разношерстный, – от немногих расфуфыренных богатых дамочек и щеголеватых военных, до толпы пассажиров третьего класса – смеси разных народностей, многие в каких-то бурых лохмотьях, хуже наших. Настоящий поперечный разрез классовой структуры российского общества. Были тут и восточное люди, как говорили, персидские купцы. Один из них, толстый-претолстый, в цветном халате, важно восседал один на верхней палубе и попивал чай из громадного самовара. А закусывал сливочным маслом с сахарным песком, поочередно набирая то и другое ложечкой. Я долго с любопытством наблюдал за ним из своей преисподней.

Так нас привезли в Астрахань, где вблизи от города, в песках, находился большой лагерь с несколькими рядами деревянных бараков, обнесенный, как и все лагеря, высокой стеной с колючей проволокой и с башнями-каланчами. Лагерь был солдатский, но в нем имелся и офицерский барак, где офицеры жили своей особой жизнью, почти совсем не общались с нами. Охрана была здесь смешанная, астраханские казаки и ратники, за небольшим исключением все калмыки. Порядки тут были вполне нормальные, то есть не донимали люди, но насекомые, конечно, да. Самыми страшными нашими врагами были комары и москиты, они не были безобидны, приносили малярию и желтую лихорадку. Болели многие, болели тяжело и умирали, несмотря на уход русских, и своих, пленных врачей.

Особенно много болели пленные турецкие солдаты, и смертность среди них была очень высокая. Помню жуткое зрелище – прибыл новый транспорт – одни турки (тогда я впервые увидел турок), и почти все безногие, на костылях. Это были в большинстве анатолийские крестьяне, попавшие в плен под Эрзерумом. Русские послали их на север, строить Мурманскую железную дорогу, которую они устлали своими костьми, по Некрасову. Непривычные к крутой зиме Заполярья, к питанию без витаминов, они быстро отмораживали ноги, болели цингой, появилась гангрена, им пришлось ампутировать конечности. И тех, кто выжил, таких калек, послали «на поправку» в «теплые края», сюда в Астрахань, где их ослабевший организм легко поддавался микробам.

Я дружил с ними, выучил от них несколько самых необходимых для общения турецких слов и фраз. Конечно, мое знание арабского шрифта и тут сыграло свою роль. Я им читал и под диктовку писал их письма, не понимая языка, подобно тому, как в Самаре татарам.

В астраханском лагере, где я пробыл от весны до конца лета 1916 года, среди пленных образовались кружки занимавшихся самообразованием. Не все проводили время в пустом безделье. Существовал и небольшой кружок любителей математики. Я занимался с ними, прочитал им целый курс дифференциального исчисления. Но когда мы должны были при-

ступить к интегральному, очередной транспорт разрушил наши занятия. Из-за отсутствия бумаги (ее, правда, можно было купить, но нами ценилась в буквальном смысле каждая копейка) и, конечно, классной доски, все излагалось на песке, том самом, на котором Архимед чертил свои круги. И разумеется, все примеры и задачи пришлось придумывать самому. Провел я и несколько бесед по астрономии.

Некоторые из нас, в том числе и я, отваживались и на художественное творчество. На одну копейку (как я приобрел деньги, скажу дальше) я купил ученическую тетрадь для чистописания, с косыми линейками и вписал туда, именно косо, – так экономней, – печатными буквами сочиненный мной фантастический роман-шарж «Артаскоп». Написал я его по-немецки, на языке, на котором мы общались, и телеграфным, крайне сжатым, стилем.

Но в лагере пришлось заниматься и самообслуживанием. Я научился кое-как чинить свою одежду и даже обувь, а также и брить – не очень первоклассно, «опасной» бритвой головы. Не скажу, что я это делал по законам искусства, но во всяком случае за эти мои достижения меня ни разу не побили. Очень большой интерес у меня вызывали ратники-калмыки. Хотя это было не легко, – запас русских слов, которыми они располагали, был невелик, – я все же сумел войти в доверие к некоторым из них, и мы часто подолгу беседовали. А с одним стариком, как все они, с безбородым «бабьим» лицом, как говорили недолюбливавшие калмыков русские, мы настолько сблизились, что он однажды показал мне амулет против «злых духов», который он носил в кожаном футлярчике, подвязанном в подколенной ямке левой ноги. Но показать содержание амулета он отказывался, ведь талисман потерял бы тогда свою магическую силу! Были у него и деревянные четки, которые он перебирал, произнося при этом несколько слов, как мне казалось в стихах.

С этим же ратником я несколько раз побывал в городе, где было что посмотреть. Я уже не говорю про астраханский кремль и разные церкви – памятники старорусской и византийской архитектуры, – но весь облик этого портового города производил на меня крайне необычное впечатление.

Мне казалось, что одной ногой я уже нахожусь где-то в сказочной Персии. Один раз я увидел настоящее чудо – громадную рыбину, белугу, которую везли одну на телеге! «Мой» калмык как-то взял меня с собой в свою кумирню – стоящее на одной из окраин, среди других жалких калмыцких хибарок, глиняное строение в форме кибитки, в глубине которого находилась нескладная статуя сидящего Будды. Никаких служителей культа – не знаю, буддистского или ламаистского – здесь не было, в полумраке этого «храма» мы находились с божеством одни. Калмык вынул из глубокого кармана шинели бутылку крепкого, пьянящего кумыса, раскупорил ее и осторожно вылил несколько капель к ногам идола, бормоча при этом что-то вроде заклинания. А потом допил сам все, что оставалось в бутылке, блаженно причмокивая. Таким образом, я один раз в жизни присутствовал при обряде жертвоприношения.

Вот так я познакомился с калмыками, национальностью, которая, если верить 19 тому второго издания Большой Советской Энциклопедии, вообще никогда и не существовала. В БСЭ заглавное слово «КАЛМЫКИ» помещено лишь в дополнительном, 51 томе, вышедшем в 1958 году. По милости «отца родного», калмыков, как и крымских татар, немцев Поволжья, как ряд кавказских племен, а также и корейцев, не только изгнали из родных мест туда, где они страдали и гибли, женщины, старики и дети в том числе, всех поголовно, за действительные или мнимые грехи небольшой группы своих сородичей, но и вычеркнули их имя из истории и географии.

Завязать задушевные разговоры я неоднократно пытался и с русскими – астраханскими казаками. Почти все они, служившие караульными лагеря, были сынками зажиточных, «крепких» крестьян, сумев устроиться за взятки здесь в тылу, чтобы не попасть на фронт. И хотя они и не обращались с нами как-нибудь особенно грубо, в то же время они

не были склонны к какому-либо панибратству. Все же мне удалось несколько раз побеседовать то с одним, то с другим, на так сильно интересовавшие меня темы о войне, о жизни, о смерти, о том, в чем, собственно, счастье человека.

Сюда, в астраханский лагерь, я стал, наконец, получать, довольно регулярно, весточки из дома. По этим открыткам я узнал, что мама, брат и сестра, а также бабушка живы и здоровы, что послали мне очередную посылку (которую я, однако, не получил), и только. Но как ни старались цензоры, вымарывая все остальное, они все же не догадались и пропустили одно сообщение, осветившее то, что там у нас делается. Оказывается, Рудольфа призвали в армию, значит, положение Австро-Венгрии незавидное, раз стали призывать восемнадцатилетних! При таком истощении людских резервов, война уже долго продолжаться не сможет. И, по-видимому, русские газеты, по меньшей мере в этом отношении, не врут, когда они описывают, как плохо там в Австрии и Германии с продовольствием, как там чуть ли не совсем перешли на «эрзацы», какие ничтожные пайки выдают по карточкам бедному населению, как это особенно гибельно отражается на питании русских пленных, которых, вдобавок, заставляют тяжело трудиться. Впрочем, это ухудшение положения центральных держав рикошетом отразилось и на нас здесь. Примерно со второй половины 1916 года нам сократили пайки, заметно понизилось и качество питания, постепенно стали гонять и на работу. Все это не было вызвано ухудшением экономического положения самой России, – в то время оно еще не давало себя знать заметно – а являлось ответной мерой за ухудшение обращения с русскими пленными. Играло роль и то, что повсюду все больше усиливались хищения, воровство, казнокрадство; нас, пленных, обирали все, начиная с каптенармуса, и кончая начальником лагеря, да, вероятно, и чинами повыше, в военном министерстве, наживавшимся на «экономии».

Нас, вольноопределяющихся со званием кадет-аспирантов и даже унтер-офицерских чинов пониже, сперва принудительно работать не заставляли. Однако томиться все время в лагере было скучно, тоскливо. И когда мы узнали, что посылают работать в астраханский торговый порт и, к тому же, выведали о характере этой работы, то многие из нас добровольно попросились поработать. Попросился и я.

Это значило очутиться в ином, сказочном мире, почти на воле, несмотря на присутствие казачьей охраны. Хотя порт был речной, – до Каспия все еще далеко, чуть ли не целых 100 км, – мне казалось, что я чувствую море, вижу его дали. Запахи рыбы, дегтя, канатов, весь этот шум, гудки, свистки, крики, уханье – все вместе создавало эту приятную иллюзию. И в самой работе, которая предстояла нам, было что-то романтическое. В помощь русским и персидским грузчикам-профессионалам, сплошь этаким дюжим молодцам, мы должны были разгружать баржи, прибывшие оттуда, из Персии, из Энзели (ныне Пехлеви).

Но зато, что это были за тюки! Там оказался кишмиш, изюм, сабза, урюк, курага. Нечего и говорить, что мы усердно дегустировали эти сухофрукты. И так делали все, рабочие-грузчики и караульные тоже.

Зреет протест

Лето подходило к концу, и из лагеря уходил транспорт, в который были включены Натан и я. Так мы расстались с Бруно, и я никогда больше не слышал о его судьбе. Повезли нас поездом на север, в район Богородска Нижне-Новгородской губернии, на работы в имении графа Бобрынского. Теперь уже всех, кроме офицеров, без разбора. Здесь нам предложили рубить лес и самим строить себе бараки. А временно мы жили в шалашах, разумеется, тоже самодельных. Здесь мы впервые увидели необыкновенное для нас явление – белые ночи. Пока было еще сравнительно тепло – это был, кажется, август месяц – жить в шалашах было сносно. Но как будет дальше? Успеем ли мы со строительством бараков? Мы валили лес, – смешанный, высокие мощные деревья, а затем пилили его. Мне как «слабосильному», из-за моей травмы, досталась более легкая работа пилки.

Но вот, в один прекрасный день нас выстроили, и русский офицер в сопровождении каких-то штатских господ произнес, обращаясь к нам, речь. Затем переводчик воспроизвел ее по-немецки. Здесь, на этой вырубке, мы построим текстильную фабрику бельгийской акционерной компании. Каждый из нас должен указать, чему он выучен, и каменщики, плотники, кровельщики, слесари и другие мастера станут работать по своей профессии, а остальные – чернорабочими. Труд будет оплачиваться.

После этого, один из штатских, назвавший себя главным инженером, предложил по-французски, чтобы те, кто знает французский, выступили вперед. Таких нас оказалось человек пятнадцать. Тогда он спросил, имеет ли кто-либо из нас инженерную подготовку, умеет ли разбираться в чертежах. Четверо – и я в том числе – соответствовали и этому требованию. Он наобещал нам золотые горы: особое питание, новую одежду, хорошую зарплату, отдельное жилье вместе с бельгийским персоналом, который, дескать, вот-вот прибудет. С этими радужными перспективами я лег спать. Но уже на следующий день все это оказалось химерой. По недосмотру бельгийцев, в наши руки попали именно чертежи цехов, и на них было недвусмысленно указано, что этот будущий завод будет производить не какую-нибудь миткаль, а артиллерийские снаряды. Мы, конечно, постарались, чтобы эту новость узнали все пленные, причем с соответствующим комментарием: заставлять нас работать на войну русские не имеют права, это запрещено международной Гаагской конвенцией. И некоторые из нас (но далеко не все: из четверых, знавших язык и имевших инженерные звания, только я один) твердо решили отказаться от этой работы, что бы там с нами ни было. Так мы и заявили об этом вежливому бельгийцу. Ответ мы получили от русского начальника, который велел всех, отказавшихся от работы – таких, в конце концов насчитывалось немногим более двух десятков из общего числа в 500 человек – отделить, как паршивых овец, «анархистов», от остального чистого стада. А милые чеченцы этот приказ тут же выполнили в сопровождении дикого гика и свиста нагаек по нашим спинам. Они окружили эту небольшую нашу кучку, в которой находились и мы с Натаном, и погнали куда-то по проселочной дороге.

Не расстреливать ли повели нас, «мятежников»? Но нет. После нескольких часов ходьбы, мы попали в село Махры и очутились перед воротами в каменной стене мужского монастыря. И в этом монастыре, под охраной одних лишь монахов, пробыли мы целый десяток дней. Это оказалось очень своеобразным наказанием. Лучший санаторий было трудно придумать. Монахи относились к нам, иноверцам и «антихристам», ласково, не принуждали трудиться. Но большинство из нас, как умели, помогали им. Мы вместе с ними ели их обильную добротную еду. Купались, грелись на солнце. За трапезой они не заставляли нас молиться, а некоторые с охотой затевали беседы на щекотливые религиозные темы, даже на такую, есть ли бог, не обижаясь, когда мы спорили с ними, противоречили им, а только сострадательно покачивали головами.

Но нашему счастью вскоре пришел конец. В монастыре появился конвой из строевых солдат-пехотинцев, которые отвели нас на станцию и отвезли – в пассажирском вагоне! – в лагерь, в город Иваново-Вознесенск (теперь просто Иваново). Лагерь этот был с нормальными, более или менее сносными порядками. Здесь отыскались и книги и русские газеты, мы читали, занимались. Из газет мы предпочитали кадетское «Русское слово», а в нем фельетоны Дорошевича. На манер восточных сказок, подражая «Тысяче и одной ночи», он резко критически изображал порядки царского двора, с развратом Распутина, царицы Марии Федоровны, продажных министров. Намеки были прозрачны. И мы с Натаном удивлялись, как же это царская цензура допускает такую крамолу.

Мы тогда не понимали двух вещей: что даже среди таких царских чиновников, как цензоры, могут встретиться отдельные, либерально настроенные, люди, и что иные считают такую критику безвредным «зубоскальством», отдушиной, которая неспособна повредить режиму, поскольку она не доходит до широких масс. Ведь даже при тоталитарном режиме, когда цензура бесчинствует намного развязнее, чем при царском самовластие, по тем же причинам иногда удается проскочить в журнал, на театральную сцену или в фильм, радио и телевидение критическому сочинению.

Нам не было суждено долго пробыть в этом лагере. Вскоре нам объявили, что мы должны работать. Многие обрадовались, полагая, что нас направят на сельскохозяйственные работы к помещикам или в крестьянские хозяйства, где пленным жилось в общем неплохо, а иногда даже отлично. Но нас послали за город, в поле, рыть учебные окопы для новобранцев. «Но это ведь опять работа на войну, и вы не имеете права заставлять нас выполнять ее», заявили некоторые из нас.

Последствия нашего отказа сказались немедленно. Нас, правда, на этот раз не побили, но чтобы мы не заразили других, тут же перевели в штрафной лагерь, благо такой имелся в городе, в помещении близкого кинотеатра, в так называемом «доме Бегина». Условия в этом лагере были крайне тяжелые. Нары не в два, а в три этажа, причем одни голые доски. Личные одеяла, которые были теперь уже у многих из нас, полученные через Шведский Красный крест или из дома, у нас отобрали. Мы были здесь напиханы, как сельди в бочке, в помещении духота, вонь, дворик маленький, в него пускали «на прогулку» партиями, редко, одним словом – тюрьма, да и только. Кормили прескверно, лишили сахара, последней порции мяса. Щи – препостные, одна вода, все чаще заменялись еще более постным жидким рыбным супом. Охрана обращалась с нами сурово, за малейший проступок наказывали, сажали в карцер, на один хлеб и воду, о каких-либо умственных занятиях в этих условиях нечего было и думать.

Не знаю, долго бы я выдержал этот режим. Меня выручило то, что, по-видимому, вследствие всей негигиенической обстановки, моя рана на животе снова начала гноиться, и возобновились сильные боли в спине. Вдобавок у меня началась цинга, расшатывались и кровоточили зубы, на ногах стали появляться черные пятна. В лагерном околотке пленному врачу удалось уговорить своего начальника русского фельдшера, что я крайне нуждаюсь в стационарном больничном уходе и, вероятно, чтобы не возиться здесь со мной, меня отправили в городскую больницу. На ее фронтоне было выведено золотыми буквами: «Больница мастеровых и чернорабочих фабрики Ивана Гарелина».

В больнице после нескольких перевязок рана перестала гноиться. Цинга не прогрессировала – мне давали лук и селедку. Меня можно было отправить обратно в лагерь. Но старший врач Мирон Миронович не отпускал меня. Ему нужен был переводчик, так как в больницу, заполненную в основном русскими рабочими и работницами, текстильщиками, теперь попадали и пленные. Переводить требовалось на русский и с русского, не только со всех языков национальностей Австро-Венгрии, но и с турецкого – среди больных пленных встречались и турки. Большого запаса слов не требовалось: всего лишь простейшие вопросы

анкеты о состоянии здоровья. С немецким и всеми славянскими языками у меня не было трудностей, с мадьярским и румынским я кое-как справлялся, так как за полтора года пребывания в плену я приобрел небольшой запас их слов. Но как быть с турецким? Однако удачно в больнице лежал и один младший турецкий офицер, который знал сносно по-французски. С его помощью я составил себе разговорник самых необходимых вопросов и ответов, и тогда все обходилось более или менее хорошо. Так я совершал вместе с врачом или фельдшером обход больных пленных, а если нужно было, меня будили ночью, и я переводил для сестры, сиделки или санитара.

А в остальное время я читал книги, которые одалживал мне фельдшер, Федор Федорович. Все это были русские классики, в большей части в приложениях к «Ниве»; именно благодаря этому чтению я быстро пополнил свой словарный состав, и хотя я не избавился от неправильного ударения и произношения, а также от трудностей русского правописания, я стал и писать довольно грамотно.

Бури революции

Кончился 1916 и начался 1917 год, в феврале пало самодержавие. Поражения русской армии, разруха, голод, вся эта ненавистная, несправедливая война, вся реакционная политика царского правительства переполнили, как говорится, чашу терпения народа. По стране прокатились все усиливающиеся волны забастовок, демонстраций, бунты крестьян, и, наконец, и солдат, приведшие к победе буржуазно-демократической революции.

В нашей больнице революция отозвалась слабо. Собственно лишь тем, что санитары и сиделки организовались, вступили в профессиональный союз и захотели ликвидировать свою неграмотность или малограмотность. Тут сказалась особенность города Иванова-Вознесенска. Его рабочим классом были преимущественно текстильщики, о классовой сознательности и революционности которых принято полагать, что они уступают в ней рабочим тяжелой промышленности. Но именно здесь-то, а не в Петрограде с его Путиловским заводом, где тем не менее установилось двоевластие, и где советами заправляли меньшевики и эсеры, – здесь вся фактическая власть перешла в руки Советов, в которых большевики имели перевес.

Этот небольшой общеобразовательный кружок низших больничных служащих – собирались человек десять-пятнадцать, не больше – и попросил меня заниматься с ними. Разумеется, я стал обучать их арифметике и сообщал им также сведения из естествознания, географии и истории, стараясь создать у них нечто вроде основы материалистического, атеистического мировоззрения и хотя бы примитивного понимания классовой природы общества. Все это имело особое значение, так как в больнице имелась своя домашняя церковь или часовня, где происходили богослужения с проповедями. Я сам раз или два побывал на них, должен сказать, что церковное пение, эти вновь и вновь повторяющиеся «Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй нас!», весь этот минорный, заунывный тон производили удручающее впечатление.

Однако мое учительствование длилось недолго. Без всякой мотивировки, без малейшего предупреждения, мне одним апрельским утром выдали на цейхгаузе мой австрийский мундир (в больнице я, как больные, ходил в халате и тапочках), за мной явился солдат с винтовкой, и, не дав ни с кем проститься, отвел меня обратно в штрафной лагерь, в дом Бегина. Но объяснений и не требовалось. Мне было совершенно ясно, что старшему врачу Мирону Мироновичу не нравилось мое общение с этими «плебеями», да и просветительская деятельность «врага» претила этому холеному барину, кадету, стоявшему за войну «до победного конца».

В лагере я застал еще более ужасные условия, чем те, прежние. Правительство Керенского приставило к нам охрану из Союза солдат, бежавших из плена. Понятно, что эти люди, вытерпевшие столько мучений в австро-венгерских и особенно германских лагерях, а также на работах у прусских помещиков-юнкеров, и по возвращении на родину еще натравляемые шовинистической пропагандой, относились к нам зачастую зверски, мстили, вымещали на нас, ни в чем неповинных, свои обиды. Режим стал просто тюремным.

И все же какой-то крохотный просвет свободы для меня существовал: возможность читать газеты, узнавать, пусть в препарированном виде о том, что происходит в мире, и таким образом не быть все же полностью отрезанным от него. Мы покупали «Русское слово», и по вечерам я читал вслух – переводя на немецкий тут же с листа – при тусклом свете маломощной лампочки, интересовавшие всех сообщения, прежде всего, «С театра военных действий» (хорош «театр», нечего сказать), а также о событиях, происходивших в России. Из сообщений о борьбе политических партий, мы получили некоторое представление о большевиках, познакомились с именем Ленина, и кривое зеркало кадетской газеты не

могло помешать тому, что большевистские лозунги «Долой войну!», «Да здравствует пролетарская революция во всем мире!», стали нам близки, особенно теперь, когда и здесь в плену, далеко от фронта, условия нашей жизни стали невыносимыми.

В этом положении было для нас настоящим приятным большим сюрпризом, когда нам объявили, что Иваново-Вознесенский Союз рабочих, крестьянских и солдатских депутатов добился у военных властей того, чтобы мы, под честное слово, что будем соблюдать порядок, и что не будет попыток к бегству, приняли участие в первомайской манифестации. И действительно, сомкнутыми рядами, весь наш лагерь, как и другие лагеря пленных, имевшихся в городе, вышел, вместе с русскими рабочими и работницами, с русскими военными частями, на просторную городскую площадь. Я посмотрел на блестевшие на солнце трехгранные штыки наших конвойных, прислушался к страстным речам чередующихся на импровизированной трибуне ораторов. Шел митинг. Выступали представители всех партий, прерываемые шумными возгласами демонстрантов. Наряду с призывами немедленно кончить войну, дать крестьянам землю, рабочим хлеб, трудящемуся народу полноту власти и свободы, слышались и заклинания продолжать войну до победы, остаться верными союзникам, разгромить Вильгельма, бороться за «порядок», против анархии большевиков, против продавшихся немцам.

И тут я не выдержал. Я вырвался вперед, не обращая внимание на окрик караульных, вскочил на эту самодельную трибуну, и обратился к своим. Я сказал – по-немецки – что мы, военнопленные, должны взять пример с русских, и, вернувшись домой, поднять у себя революцию, и что мы уже сейчас, как это сделали русские солдаты, должны перестать рабски повиноваться своим офицерам. Я перевел эту краткую речь на свой корявый русский язык, закончил по-русски возгласом: «Да здравствует мировая революция!», и по-немецки, и по-мадьярски, «Es lebe die Wiltrevolution!», «Eljen a vilag forradalom!» и под оглушительные крики, в большинстве восторженные, – но были, конечно, и негодующие, – всей многотысячной толпы, заполнившей площадь, спрыгнул с трибуны и втиснулся обратно в наши ряды.

Возмездие не замедлило себя ждать. На следующий же день делегация пленных офицеров пришла из лагеря к прапорщику Рябцеву, начальнику лагеря, с просьбой наказать меня, изолировать за разлагающее политическое влияние. И в тот же день вечером, когда мы, как всегда, читали газету, появился этот начальник в сопровождении двух солдат и старшины и протиснувшись через тесный проход между нарами, подошел вплотную ко мне. «Встать!» – рявкнул прапорщик. Мы, конечно, все вскочили и стали навытяжку. «Давай сюда германскую газету! Откуда достал ее, шпион!» Я объяснил, что германской газеты у нас нет, что, вот, я просто читал «Русское слово», переводя на немецкий. Но прапорщик заревел: «Молчать!», с добавлением непечатной брани, и ударил меня своим большим кулаком – у него была волосатая медвежья рука, с большим перстнем, – я ее и сейчас вижу, – причем так сильно, что выбил мне сразу два передних зуба, шатких после цинги. Тут же два конвоира «нежно» подхватили меня и повели. При этом произошла маленькая задержка, даже в этих обстоятельствах – я плевался кровью – показавшаяся мне комичной. Когда мы уже вышли из лагеря, прапорщик почему-то спохватился, что одет я не по форме – без кепи и шинели – и мы всей процессией вернулись, я оделся, и мы снова пошли на окраину города, в пересыльную тюрьму.

Здесь меня уже ждали, без лишних церемоний записали в книгу и отвели в камеру-одиночку, в которой я без предъявления обвинений и без каких бы то ни было допросов пробыл целых полгода. Но как это ни странно, эта перемена, задуманная как кара, во многих отношениях улучшила мое положение. Конечно, я лишился общения с людьми, но и то не полностью. Были все же тюремные надзиратели – их было двое, они чередовались – и у меня с ними вскоре установились вполне сносные отношения. Они были уже пожилые. Один из них в первое время был груб и зол, но я сумел сагитировать его, и он стал, как и второй,

подолгу мирно беседовать со мной о войне и жизни вообще, охотно рассказывать ужасы о заключенных, убийцах и ворах, а также о политических. Да и баня была, и на прогулку выводили изредка в тюремный двор, и питание лучше, чем в лагере.

Конечно, одиночка была с непривычки тягостна, порой находило отчаянье. Но я находил способ отгонять мрачные мысли. В камере была полукруглая, черная, высокая до потолка, жестяная печка, а со стен камеры легко было сколупнуть кусок белой штукатурки. Вот я и придумывал себе математические задачки, а при экономнейшем пользовании этой «доской» и этим «мелом», затем пытался решить их. Мои старания наблюдали через «волчок» мои сторожа, удивлялись, а я объяснил им, что я учитель, и вот упражняюсь, чтобы не забыть свою профессию, и они успокоились. Но ведь здесь были даже передачи, целых три за эти шесть месяцев. Товарищи из лагеря послали мне белье – по меткам на нем я понял, что оно было из посылки шведского Красного креста – непременно завернутое в свежий номер «Русского слова». Оттуда я всякий раз узнавал о все более бурных событиях в стране.

Однако наступил, наконец, один из самых счастливых дней моей жизни. Но так как у меня не было календаря, не ручаюсь, было ли это 27 или 28 октября (9 или 10 ноября). Во всяком случае, этот столь памятный для меня день начался с того, что не было утреннего чая с раздачей пайка хлеба, хотелось есть. Я стучался в дверь, но в коридоре не было стражи, никто не подошел. Слышался доходивший откуда-то гул, – не бунт ли это в тюрьме? Я страшно волновался. И вдруг с грохотом открывается дверь моей камеры, и входит штатский в сопровождении одного надзирателя. Я сразу заметил, что мой «приятель»-надзиратель без пояса и револьвера, что он расстроен, и что у него та самая книга, вроде гроссбуха, в которую, при приеме в тюрьму, меня записали.

А штатский, высокий худющий брюнет, с впалыми щеками и горящими глазами, как раз и был вооружен. Удостоверившись по книге, кто я таков, он переспросил меня еще раз, для верности, за что меня посадили, и не дождавшись, когда я, взволнованный, окончу свой рассказ, тут же обнял меня, в нескольких словах сообщил, что в Петрограде победила пролетарская революция, правительство капиталистов и помещиков арестовано, Керенский бежал, что власть в руках Советов рабочих, крестьян и солдат, с большевиками и левыми эсерами во главе, и что я, как и другие политические заключенные, теперь свободен, и сейчас пойду с ним к нему домой. Он назвался Самойловым, руководителем Иваново-Вознесенской большевистской партийной организации. И мы пошли с ним, с трудом продираясь сквозь группки рабочих с винтовками за плечом, то и дело обращавшихся к товарищу Самойлову с каким-нибудь вопросом. Да, и я теперь товарищ, какое это замечательное слово (и как оно ныне опошлено!) – тюрьма, надзиратель, с его книгой и связкой ключей, остались навсегда позади… Но навсегда ли?

Не то перенесенный нервный шок, вызванный пусть и благоприятной, но крайне крутой ломкой в моем положении, не то необычно долгое пребывание на свежем воздухе, причем на пустой желудок, не то все это вместе взятое, вызвало у меня приступ внезапной слабости, такой, что я был близок к обмороку, ноги стали подкашиваться. Заметив это, товарищ Самойлов нанял извозчика и отвез меня к себе в рабочую слободку, где он жил в небольшом деревянном домике. Все было теперь для меня впервые: и поездка на извозчике, и впервые я очутился в русской семье, причем в семье рабочего, профессионального революционера-большевика, исключительно душевного, дружелюбного человека.

Я побывал с товарищем Самойловым, который, как правило, целыми днями до поздней ночи пропадал в помещении партийного комитета, где висел довольно неудачный портрет Карла Маркса. Товарищ Самойлов, должно быть для проверки, спросил меня, знаю ли я, кто это, и остался очень доволен моим ответом. Он предложил мне жить у него, но я решительно отказался, заявил, что вернусь в лагерь, чтобы вести политическую работу среди военнопленных. И он как нельзя более одобрил это. Так мы с ним и расстались, но затем встрети-

лись снова в Москве, когда он был членом ЦК, а я членом МКК. К сожалению, этот замечательный человек рано умер, скошенный полученным в царских тюрьмах туберкулезом.

Итак, я вернулся в «дом Бегина». Здесь теперь установились новые порядки, военнопленные в лагере создали свою организацию, которая если и не полностью сама управляла лагерем, то оказывала на его управление решающее влияние. Охраны в лагере теперь никакой не было, но никто и не думал бежать, все понимали бессмысленность такой затеи при существовавшей в стране полной разрухе транспорта и царящем голоде. Но вместе с тем все, или почти все, жили одной только мыслью: что большевики немедленно заключат мир и поскорей отпустят пленных, эти миллионы людей, к себе на родину. «Nachhause!», «Haza meny!», «Domu!» – этот многоязычный клич «Домой!» – в то время заполнял бараки лагерей.

Лишь единицы из этой измученной, опустившейся, отупевшей солдатской массы, разбросанной по многочисленным лагерям европейской России и Сибири, вплоть до Тихого океана, понимали тогда, что большевистская власть несет не только скорое свидание с родными и с оставленным штатским костюмом, возврат к привычной кружке пива в привычном кабачке или к стакану вина в знакомом винном погребке. Но зато те, кто поняли, те бросились со всей, скованной за годы плена, энергией, организовывать эту борьбу. Еще в октябре 1916 года Ленин призывал к тому – чего мы, и я в том числе, конечно, тогда не знали, – чтобы трудящиеся не разоружались, не бросали винтовки, а повернули штыки, чтобы они боролись «против буржуазии собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоруживанием ее». Таковы были и наши намерения.

У нас, в Иваново-Вознесснске, как и во многих других городах, наша организация, подражая русским, назвала себя Комитетом военнопленных революционных социал-демократов-интернационалистов. Она перешла от слов к делу: мы сорвали у пленных офицеров их звезды и нашивки, отняли у них их денщиков и заставили их работать по лагерю наравне с солдатами; в доме Бегина сняли третий ярус нар и переселили часть солдат в более благоустроенный офицерский лагерь, уравняли офицеров с солдатами в питании и создали комиссию для справедливого распределения посылок – больным и наиболее нуждавшимся в первую очередь – получаемых от шведского Красного креста, посылок, которые до сих пор доставались преимущественно лишь офицерам.

Состав нашего Комитета, членом которого был и я, был смешанный. Далеко не все были членами отечественных социалистических партий. И хотя из офицеров входили в него лишь немногие, зато тем большую роль они в нем играли. К таким офицерам принадлежал и Фенрих Аради, венгр, года на три старше меня, человек образованный и весьма энергичный, с которым мы быстро подружились.

Наш Комитет решил встретить канун Нового года (по новому стилю) торжественным митингом. Помещение украсили по традиции самодельными лампиньонами и елкой, а ораторами были назначены я и Аради. Однако на этом вечере присутствовал также прибывший из Москвы в город начальник Московского военного округа, Муралов, старый большевик. Ему оба наши выступления, пламенные и торжественные, настолько понравились, хотя он мог судить о них разве только по бурной реакции слушателей, что он пригласил нас в Москву работать в создающемся Всероссийском комитете бывших военнопленных. Его решение было для нас приказом, и мы уехали в Москву.

В Москве наш Комитет, в который меня и Аради кооптировали (меня утвердили заместителем председателя, некоего Эбенгольца, австрийского немца, кельнера по профессии), помещался в бывшей гостинице «Дрезден» на Скобелевской, ныне Советской площади, в доме, где теперь находится ресторан «Арагви». Хотя Комитет располагался этажом выше, все же он существовал под крылышком Московского комитета большевиков, секретарем которого была тогда огненная и твердокаменная Землячка.

Борьба за мир

31 декабря 1917 года (по старому стилю, значит, на 13 дней после того, как мы отпраздновали его в Иваново-Вознесенске), был для нашей организации днем смотра. В этот день московские большевики собрались встречать 1918 год в тогда самом вместительном помещении города, в манеже бывшего Алексеевского офицерского училища в Лефортове. Наш Комитет решил привести на эту встречу военнопленных из Кожуховского лагеря, придать ей интернациональный характер. Но вытащить этих голодных, полураздетых, мечтавших лишь о скорейшем возвращении на родину, людей, заставить их пройти по морозу много верст, было трудно, как трудна была и вся работа нашего Комитета. Я только что вернулся из одной агитационной поездки, был в Павлово-Посадском лагере и еще раз смог убедиться в этих трудностях. Прежде всего, на меня, и на товарища сопровождавшего меня, накинулся русский писарь, который там был фактически заправилой. «Чего надо? Что, митинг устраивать? А где ваши мандаты? Не признаю! В лагерь вас обоих, в лагерь под арест посажу!»

Вот такова была, знакомая нам уже по другим местам, встреча. Пришлось взяться за наганы, чтобы, угрожая ими, вернуть драгоценные мандаты, добиться доступа во двор лагеря и собрать митинг. Но сами военнопленные встретили нас ничуть не лучше. Они не дали нам говорить «о текущем моменте». Подзуживаемые несколькими крикунами, прихвостнями пленных офицеров, они осыпали нас бранью: «подкупленные русскими», «шкурники – большевикам продались», «нас снова на фронт гнать хотят», «обманщики, чего домой не пускаете», «бей их!» – и стали напирать на нас. Мы едва ноги унесли.

И это нас-то обвиняли в шкурничестве. Нас, которые ходили в тех же рваных, полуистлевших австрийских шинелях, ездили на подножках и буферах вагонов, – в ту пору не помогал даже выданный нам Мураловым мандат на право проезда по всем железным дорогам, – не получали ни копейки, жили вместе с другими пленными в лагере около казарм за Спасской заставой и отличались от них разве лишь тем, что с утра и до поздней ночи работали в «Дрездене», после чего, голодные, пешком, возвращались в лагерь, где нас ожидали холодные, почти несъедобные остатки скудного обеда и крохотный кусочек хлеба.

При всем этом было особенно тяжело сознавать, что товарищи из Московского Комитета большевиков нам далеко не полностью доверяют, что они относятся к нам настороженно. Как позднее выяснилось, такая их осторожность, основанная на долголетнем опыте работы в подполье и в эмиграции, когда в ряды партии проникали провокаторы, была вполне оправдана. Но этого мы тогда не понимали, для нас такое отношение, а прежде всего то, что нас не принимали в партию, было смертельно обидным. И вот, если мы добьемся массового участия военнопленных в новогодней встрече, то это должно будет, так мы полагали, рассеять все сомнения русских товарищей.

И нам действительно удалось привести стройными рядами свыше тысячи человек в голубых и серых шинелях на этот митинг. Восьмитысячная толпа в манеже, куда влилась целая дюжина национальностей «центральных держав», в самом деле получила тем самым интернациональный характер. После открытия митинга звонкой речью Землячки, приветствия солдат 85 пехотного полка, бравшего в октябрьские дни это училище-крепость контрреволюции, и рассказа товарища, вернувшегося из якутской ссылки, на трибуну поднялся я. Все это собрание было настолько необыкновенным, что оно вдохновило пролетарского писателя Серафимовича написать о нем художественный рассказ «Море» – взволнованное человеческое море – опубликованный в ближайшем номере «Известий». Вот как он описал мое выступление: …«Выходит небольшого роста в гимнастерке защитного цвета военнопленный и говорит изломанным таким странным для уха русским языком, и в глазах его печаль: «Я плохо говорю по-русски, но я этому не виноват. – Ничего, ничего, говорите, слу-

шаем… – несется из зала. – Вы, рюсские, весело встречаете ваш революционный Новый год, а мы… мы не имеем права… у наших братьев там темнота… У вас праздник… Вы сделали свое дело, мы нет, и мы печальны…» Что это? Не вздох ли пронесся над тысячами людей? Нет, это печаль стала, как темно опустившееся покрывало. И я увидел мутно сереющее, громадное пятно среди людскою моря – военнопленные, их тут свыше тысячи. И сквозь эту печаль, сквозь этот вздох молчания раздался голос нашего солдатика: «Ничего, не тужите, у нас то же будет». И разом просветлело, а Кольман улыбнулся. «Да, борьба, только борьба несет счастье. Есть легенда, очень красивая легенда, и я вам ее скажу. Когда Христа распяли, и он умирал на кресте, лицо его было светло – он проповедовал любовь, и всепрощение, и непротивление. И прилетел к нему сатана, черный и мрачный, и сказал: «Я тебя искушал два раза, а ты не поддался. А теперь я тебя не буду искушать, я скажу тебе правду. Слюшай же. Ты всю жизнь учил только любить, только прощать, только подчиняться, гнуть свою шею – это рабам. А я учил – жизнь борьба, счастье борьба, свобода борьба. Хочешь рабом – прощай всех, хочешь свободы и счастья – борись». И отлетел сатана, и умер Христос, а на лице его было отчаянье». Он замолчал и секунду стояло молчание, и взрыв аплодисментов покрыл его. К товарищу Кольману наклонился председатель и сказал ему: «Скажите вашим товарищам на родном языке, ведь они не понимают по-русски». И Кольман свободно и страстно заговорил по-немецки. И что блестит в глазах людей? Может быть, слезы, я не знаю. Он бросает жаркие и страстные слова, повитые темной печалью, и вдруг среди тишины грянуло в ответ на непонятном языке: «Wir schwören zu sterben!» – «Клянемся умереть!»… Клянемся умереть у себя на родине за то, за что вы умирали у себя в России».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.